



НОВИНКИ · СОВРЕМЕННОСТИ ·

Лариса
Тараканова

ШКАТУЛКА

Рассказы

«Современник»
Москва · 1986

P2
T19

Рецензент *В. Исаев*

T $\frac{4702010200 - 007}{M106(03) - 86}$ 76-86

Дорогая Луиза

Эта замкнутая девочка никому не доставляла хлопот, никогда ничего не просила, ни на что не жаловалась. Вечно сидела где-нибудь в уголке, глядела в одну точку и думала...

Здравствуй, дорогой папа. Я живу в деревне Захаровка у бабушки Матрены. Мне здесь очень скучно, потому что ребята дразнят меня городской, что я говорю «гэ» вместо «хэ». Они говорят: «хородская». Ну и что? Со мною водится девочка Таня Кускова. Мы делаем секреты у них на огороде, хороним под стекло всякие интересные вещи и засыпаем песком. Я отдала Тане половину своих фантиков, а она мне — кусочек расколотой чашки, очень красивый с золотым цветочком. Бабушка Матрена очень хорошая, только заставляет пить молоко. Еще с нами живет бабушкин муж дед Милеша. Но он всегда лежит на печке, потому что старый. Однажды он пошел на двор, а Федька, Танин брат, он уже в третий класс перешел, залез на печку и стащил дедовы сушеные грибы. Говорит нам, хотите попробовать, но мы не захотели, потому что они черные и пахнут. Вообще-то Федька хулиган. Он знает ругательные слова. Но мы с Таней затыкаем уши

и плохо слышим. А он как скажет однажды громко, так, что бабушка Матрена в сенях услышала, сразу вошла и мокрым веником хлестнула Федьку по спине. Мы засмеялись, а он обозлился...

Милый папочка, противный Федька потоптал на огороде наши секреты. И тетя Наташа сказала, что мы ей огород испортили, что поназарывали в землю всякого стекла, чтобы руки резать. Таню долго не выпускали гулять. Потом велели идти за хлебом, и она забежала за мной.

А мама долго не едет. Если бы вы были в одном городе, то встретились бы и договорились приехать вместе. Вот бы они посмотрели тогда. А то не верят, что ты в Киеве на важной работе...

Дорогой папочка, поздравляю тебя с праздником Первомаем! Желаю тебе всего хорошего, чего ты себе желаешь. У нас большой праздник. Все ходят по улице очень нарядные. Возле клуба много веселых людей. Мы с Таней едим пироги. Она свои, я свои. И угощаем друг друга. Уф, как объелись, прямо пузатые. А Федька обещал нам занять место в первом ряду, а сам с другими мальчишками хохотал. Но и так весь концерт сидели близко. Мне очень нравятся артисты. Такие красивые. Особенно одна тетя в длинном платье. Оно все блестело и переливалось. Наверное, дорогое, из золота. Таня говорит, что артистам платья выдают задаром и в городе есть прокат, где все можно взять. Будто у нее в городе живет тетя и бе-

рет стиральную машинну. Таня говорит, что говорит правду, но я не верю. Ведь если бы давали, все бы себе всего набрали и были богатые. Я спросила, там бывают такие куклы, которые глазами шевелят и говорят, «мама»? Таня сказала, хитренькая, куклы всем нужны. Ты не думай, папочка, что я без куклы жить не могу. Только есть такие хорошие-хорошие. Я видела в магазине на станции. Но мама сказала, что она кусается. А она просто была дорогая... Когда был Новый год, мама взяла полено, обернула ватой и сказала, что это Дед Мороз. Федька тогда еще все серебристые конфетки на елке поразворачивал, думал, настоящие. Мы же туда сахарок заворачивали и хлеб. А на золотую рыбку он сказал «хамса» и издевался.

Мама сказала, что он дурачок, вырастет — поумнеет. Вот у его отца нет целой левой руки, а он все равно хороший. Это правда. Он даже Федьку не бьет, хотя у того по-русскому три с минусом...

Мама сказала, что постарается приехать скоро, как только в общежитии договорится.. Ведь мне в школу идти, и ей без меня скучно, хотя бы родная душа рядом была...

Вы с мамой поругались? Наверное, поругались, потому что мама бывает нервная. Но ведь это случилось давно, когда я еще не ходила. А теперь я все понимаю. Ты на маму обиделся, что она кричала надоело, все, надоело, и уехал. Правда же? Но ведь мама хорошая, красивая. У нее есть голубое креп-жоржетовое платье и туфли на каблуках. Федькин отец сказал, что она непостижимая. А Федькина мама сказала вытрихвостка. Она

злится, потому что пожилая и одеколоном не пользуется...

У нас уже дорога просохла и можно ходить на остановку. Я встретила три автобуса, а мамы нет. Бабушка Матрена сердится, что я плакала, и говорит, никуда твоя мама не денется. Надо пользоваться воздухом, а не распускать нюни. Она радуется, что хохлатка опять хорошо несется и много яиц. А Федькин отец говорит, что зря отдал нам своего петуха, когда этот шпанюк подавил наши яйца, когда подглядывал, как мы с Таней секреты зарывали...

Дорогой папочка, от мамы пришло письмо, что скоро она возьмет три дня и приедет за мной. А вдруг ты приедешь, а мы уже уедем. Лучше не приезжай, а то тебе будет печально. У нас такая теплынь, что мы ходим в одних сарафанах. Интересно, в городе тоже тепло? Вот бы да!

Я люблю, когда без валенок и пальто. Федька завидует, что я буду в городе мороженое есть. На станцию привозят, но это пять километров. Федька говорит, пошли на станцию, но мы боимся, что заругают. Он сказал малышня и у него три рубля есть. Мы решили быстро сходить. Федька сказал, что в прошлом году, когда они ездили форму покупать, отец ему три пачки купил. Таня сказала, что когда её поедут покупать форму, она тоже съест три мороженых...

Родненький мой папочка, я сильно заболела. У меня болит голова и живот. Мы ходили на станцию, но она далеко. Федька

стал рвать цветы и есть. И мы тоже ели, потому что хотели мороженого и далеко идти. Потом у меня заболел живот. Я пришла домой и легла прямо на постель одетая. Тут меня вытошнило. Бабушка Матрена стала быстро вытирать и испугалась, что я умру и что она скажет маме. Но я же еще не выросла, зачем мне помирать. Вон же дедушка на печке живет еще, а ему девяносто лет. Бабушка его жалеет. А меня никто не жалеет, даже мама не едет. Пришла Федькина мама узнать, что мы ели, потому что этот обормот всю дорогу дрищет, и надо дезинтерийного врача. Бабушка дала ей отвар из моей банки и сказала царица небесная, мать заступница. Потом я заснула. Сплю-сплю. И чувствую, как хорошо пахнет. Открываю глаза, возле меня мама, приехала и сидит. Дохлячок ты мой ненаглядный, как же я по тебе соскучилась. Мама такая красивая с кудрями. Я сразу обрадовалась и заплакала. Что же ты, глупышечка, все хорошо устроилось. Нам две кровати в общежитии дали. Поедем в город, там высокие-высокие дома, фонтаны брызжут и много детей. Я подумала, как же Таня без меня будет играть. А потом подумала, что я отдам ей на память все стеклышки, чтобы она не обижалась.

Конечно, сказала мама, подари ей что хочешь. А тебе за это — вот! Развязала большую коробку. А там — просто я не знаю какая чудесная кукла. Лицо такое розовое, платьице с кружевами, волосы длинные завиваются. Это папа купил! Это Луиза, сказочная принцесса! Мама сказала — нет, это она купила на свою собственную зарплату,

и ты, папа, здесь ни при чем, что нам и без тебя хорошо, мы ни у кого ничего не просим и не унижаемся. Вот мы приедем в город, я пойду в школу, буду хорошо учиться, а мама будет деньги зарабатывать и мы всё себе будем покупать, что захотим...

Мама дала деньги бабушке Матрене и сказала, если бы не вы, не знаю, что бы делала. Бабушке стало стыдно, что не уберегла девоньку, но мама обняла и поцеловала ее. На столе вкусно пахла селедка и колбаса из города и целый кулек пряников. Но я не хотела есть и лежала. Дедушка собрался слезать с печки, но бабушка поставила ему тарелку наверх, и он долго сосал косточки. Бабушка радостно говорила — обопъется опосля...

На что мы им, дурочки деревенские, тихо говорила мама, чтобы я не слышала. Они высокого полета, больших претензий. У них дипломы. Кое на что мы сгодимся, но не больше... Мама была злая и грустная одновременно. Почему? Сказала ведь, что все хорошо, а сама обхватила голову и сидит. Спи, деточка, спи, хорошая. Я просто устала. Работа сдельная, сколько наработаю, столько получу. Не пропадем. Бабушка кивала: ну и славно, ну и хорошо. Дедушка уже храпел на печке, и я почти спала, но услышала, что посуду на столе сдвинули, значит, взяли карты. Бабушка умеет гадать про трефового короля...

Вот приходит трефовый король и говорит: сейчас перед вами выступит принцесса Луиза. Она исполнит песню приколола цветок голубой.

Я выхожу на сцену, гляжу, а на мне одни трусы и майка. Разве в таком выступают? Тоже мне, Луиза, кричит Федька, он сидит прямо у сцены и смотрит на меня насмешливо. Конечно, я застыдилась без длинного платья... Кыш, кыш отсюда!

Я проснулась. В доме светло от солнца. Мама стоит у окна и машет полотенцем на черного петуха. Тот спрыгнул с подоконника, вскочил на плетень, блеснул разноцветным хвостом и как кукарекнет на весь двор. Мама засмеялась. Петух гордо посмотрел на нее. Я совсем проснулась и обрадовалась, что мама со мной. Откинула одеяло и — хлоп! Луиза упала на пол лицом. От ее лба отколупнулся кусочек краски, и она стала страшная. Не расстраивайся, мой хорошонок, сказала мама, приедем в город, пойдем в зоопарк и в кино, у меня три отгула. Конечно, вещь деньги стоит. Но она же не живая, ей не больно...

Дорогой папочка, когда ты приедешь в город, то сразу найдешь нас. Мы будем жить в самом высоком пятиэтажном доме. Привези мне сказки Пушкина, а то я свои подарила Тане. А куклу мне не привози, потому что школьники не играют. Жаль Луиза разбилась. Моя первая и последняя...

А ты ее так и не увидел.

...Эта тихая, замкнутая девочка теперь — мать двух сыновей. Мальчики растут бойкие, смысленные. Убирая в их комнате, она с грустью оглядывает груды поломанных, разобранных по деталям автомобильчиков, ав-

томатов, заводных зверюшек. «Когда я была маленькая», — говорит она шалунам. «Знаем, знаем! — весело перебивают они. — Когда ты была маленькая, у тебя не было таких замечательных игрушек. Ну и что? Ведь ты уже не маленькая».

«Увы!» — вздыхает она и разводит руками.

Пистолет

Мальчику Диме исполнилось шесть лет, и он уже все понимал про эту жизнь. Он понимал, что хозяйка, у которой они квартируют в избе, — ехидная женщина. На днях, когда родителей не было, подозвала его и, ткнув пальцем в их семейный альбом, спросила:

— Это кто?

— Это мама, это папа, это я, — ответил Дима и удивился: разве она сама не видит?

— А это кто? — спросила хозяйка, указав на другое фото.

— Это мама, это я, это дядя, — сказал Дима.

— Чего же он тебя на руках держит? — спросила хозяйка, и в голосе ее послышался подвох.

Дима пожал плечами:

— Я тогда плакал и не хотел идти.

— Это твой отец, — вдруг заявила хозяйка.

— Нет, вот мой отец, — возразил мальчик.

— Тогда почему же ты не Алексеевич, а Петрович?

Этого Дима не знал. Но, почувяв недоброе, насупился и отошел...

Еще Дима знал, что его мама самая худая на свете, за что хозяйка за глаза называла ее селедкой. У мамы большая щитовидка, поэтому она по два раза в день капает на кусочек сахара йод и съедает. Хозяйка по этому поводу однажды произнесла, зная, что дома взрослых нет: «На одном сахаре в трубу вылетим».

Мама работает в амбулатории вместе с Лизаветой Сергеевной. У Лизаветы Сергеевны есть военная пилотка, ее собственная. Она ее в войну носила, когда работала в санитарном поезде.

А папа у Димы очень серьезный. Работает начальником, где роют котлован. Домой приходит поздно, когда Дима уже спит, а уходит рано, когда в зимних окнах еще темно.

Еще в избе за перегородкой живут двое хозяйкиных сыновей. Это народ шумный. Утром слышится одно и то же:

— Мать, иде мои сапоги!

— Федь, не видал моих порток?

Так они разгоняли свой и чужой сон.

Мама бесшумно вставала и разогревала на примусе чай. Дима слышал, как звенела посуда, как шаркали за перегородкой хозяйкины башмаки, как гремел рукомойник. Окончательно просыпался он, когда в доме уже никого не было, кроме него и хозяйки. Мама с отцом на работе. Братья в колхозной МТС. Дима оставался до обеда сам по себе, пока мама не прибежала из амбулатории покормить

его. Он съедал то, что ему оставляли на столе под салфеткой, и начинал играть в солдатиков. Настоящих, магазинных игрушек у него не было, и он вырезал фигурки из картона. Он знал, что скоро у него день рождения и ему, наверное, подарят детский пистолет с пистонами, о котором он давно уже мечтал и часто напоминал маме. «Купим! Купим! — отмахивалась мама с досадой, но потом уточняла: — В получку съездим в сельпо и купим». Дима ждал получки. Наступал ожидаемый день, но всегда получалось так, что деньги быстро распределялись: за жилье, на питание, еще на что-нибудь. И трех рублей лишних не оставалось. Мама виновато глядела на сына, и он успокаивал ее: «Ничего, я потерплю».

В последний раз вообще произошла неприятность. Мама как всегда выложила перед хозяйкой деньги. Та, утерев руки о подол, медленно пересчитала лохматые листы и сказала:

— Маловато! Нынче жизнь трудная, за все плати. И дрова, и свет, и остальное... Надо бы надбавить. Али еще как возместить. Вы бы спросили мужа насчет толи. Чай он мог бы достать у себя. Курятник весь протекает...

Мама ответила, что строительный материал на строгом учете и вряд ли удастся что-то сделать.

Хозяйка обиженно поджала губы и после весь день недовольно покрикивала на Диму: «Не стучай дверью! Ну чего расшерепился? Проходи от печи!»

Вечером отец заявил хозяйке:

— Я не вор! Материалы не мои, государственные, понимаете?

— А то не понимаю? — отвечала та. — Изза кусочка не убудет у государства.

— Вы отсталая! Вы мещанка! — сказал отец.

— Я?! Это так, значит, обо мне? — обиделась хозяйка. — Как молочко да картошечку трескать, вы сюда бегите, ко мне, отсталой. А как прореху залатать, так шшш! Капусты в бочке половина осталась. Кто поел?

— Жена вам заплатит за все! — отрезал отец и захлопнул перед ней дверь в комнату.

Мама взволнованно раскраснелась: ей и за резкого мужа было неловко, и жаль хозяйку, которая и впрямь трудилась по дому не разгибаясь — корова, поросенок, куры требовали немалых сил.

Еще мама волновалась оттого, что завтра будет воскресенье. В этот день отец спал долго. Дима уже поднимался, выпивал молоко и шел гулять во двор. Если было не холодно, он гулял долго, а в мороз не выдерживал, возвращался в избу.

Двор был маленький, не побегаешь. Да еще сугробы вокруг — не повернешься. На речку, где ребята в мороз накатывали славную горку, Диму пускали не всякий раз. Зато, когда мама ехала к проруби полоскать белье, Дима ликовал: его сажали на санки, в руки давали таз с мокрым бельем и везли через всю деревню. Пока мама полоскала, Дима бегал на горку и лихо скатывался. У мамы от ледяной воды руки становились красные и плохо сжимались пальцы. Дима сам брался везти санки с бельем, но это было ему

не под силу, да и таз без поддержки норовил опрокинуться в снег.

Это воскресенье выдалось солнечное, звонкое. Дима вышел во двор и замер: снег искрился на солнце и переливался цветными звездочками. Мальчик даже зажмурился от сильного блеска. По дороге за изгородью шла большая темная лошадь с такой мощной гривой, какой Дима еще не видал. Она тащила телегу с сеном. Из ее ноздрей выбивался клубами пар. Пахло навозом: лошадь оставила по себе след. Мужчина в тулупе, шедший рядом с телегой, недовольно сплюнул в сторону и цокнул: «Но, пошла!»

Диме нравились лошади. Он мечтал когда-нибудь поскакать на одной из них, как соседский Санька, который был всего на два года старше Димы, а уже мог запрягать мерина и управлять им как взрослый. Санька был маленький мужик в доме: дрова колот, корм скотине задавал. Поэтому времени на гулянье у него оставалось немного. Учась в школе, он домашних уроков, как правило, не готовил. Зато, переделав по дому разные дела, мчался на улицу и куролесил там до темноты. Диму он презирал за младший возраст, нежный характер и зависимость от родителей. Санька разговаривал со своей матерью как равный и мог сказать ей: «Отстань!» или «Сама дура». Диму такое обращение грубое ужасало. Но Санькину грубость он воспринимал как силу и втайне мечтал походить на приятеля.

Дима проводил глазами удалявшуюся телегу, мужчину в тулупе, потом решил заглянуть в сарай. Но там все уже было ему из-

вестно: за низкой перегородкой хрюкал вонючий поросенок, на стенах висели разные предметы малопонятного назначения. Дима все разглядывал, прикидывал: это зачем и для чего. Когда ему наскучило ковырять палочкой сугроб, прыгать со ступенек крыльца, он решил отпроситься на горку.

...Отец сидел за столом перед сковородкой с яичницей.

— Есть хочешь? — отец был в добродушном расположении.

— Он уже позавтракал, — вступилась мама. — Ступай, сынок, погуляй.

— Да что же ты его гонишь от меня? — оборвал ее муж. — Съем я его, что ли? — И предложил мальчику: — Давай поговорим.

Дима немножко боялся отца, тот бывал и буен. Мог тарелкой об пол хряснуть или попавшуюся под руки вещь разломать одним ударом. Но как бы ни бывал он сердит, никогда не замахивался ни на жену, ни на сына. «Тебя что, отец не порет никогда? — удивился однажды Санька и заключил: — Ну ясно, ты же хлюпик. Вдарь — из тебя дух вон!» Дима даже не обиделся от Санькиной насмешки, он боялся боли и предпочитал быть хлюпиком, чем испытать хоть одну порку.

Отец усадил сына возле себя, потрепал белобрысый чубчик:

— Ну что, герой, поедем в райцентр за покупками? Маме шубу купим, тебе игрушку... там какую-нибудь. Ты что бы хотел, а?

Дима даже задохнулся от радости: вот оно наступило, счастливое мгновение. Желая удержать отцовское расположение, глядя

в блестящие веселые глаза большого мужчины, вдруг ставшего таким ласковым, он торопливо произнес:

— Пистолет с пистонами!

— Идет! Пистолет так пистолет. А маме шубу.

Дима знал, что у Лизаветы Сергеевны есть шуба, а у мамы нет. Мама ходит в одном и том же пальто и в мороз и в слякоть. Когда очень холодно, она ходит быстро, почти бегом, чтобы не мерзнуть. Но Лизавета Сергеевна однажды сказала, что ее шуба стоит семьсот рублей. Сумма немислимая! И по грустному выражению маминого лица Дима понял, что о такой вещи сй остается только мечтать. И вот отец говорит «Купим!». А мама стоит спокойная, как будто ее это совсем не интересует.

Тем не менее через полчаса они уже шли втроем к автобусной остановке. Дима торопил взрослых — как бы не опоздать, а то жди потом два часа следующего рейса. Но они не опоздали, даже пришлось немного ждать.

Автобус ехал по шоссе как стрела. Вокруг белели снежные равнины, темнели леса. Ничего интересного. Но Дима всю дорогу смотрел в окно, замечал дымки над деревенскими трубами, считал придорожные столбы.

В райцентре они сразу пошли в универмаг, в отдел верхней одежды. Здесь им показали шубы. Папа сказал: «Вот эту, пожалуйста!» Продавщица охотно разложила перед ними манто из черного волнистого каракуля. Мама ахнула: «Это нам не подойдет!» — «Почему?» — спросил отец. Мама показала ему бирку. Отец присмотрелся к цене, кашлянул

и спросил: «Что-нибудь поскромнее у вас найдется?» Продавщица взглянула на них со снисходительной жалостью и сказала: «Дешевле нету!»

Мама торопливо дернулась к выходу, но отец задержал ее:

— Без покупки не уедем. Вот возьми, — он сунул ей в руку пачку денег. — Покупай что на тебя смотрит. Расходи всё премию!

Мама закусил губу, неловко засунула деньги в сумку и сказала:

— Кофту посмотреть, что ли?

— Вот, давай кофту! — согласился отец.

Они направились к трикотажу.

«А пистолет?» — думал Дима. Он уже приметил отдел игрушек в дальнем конце магазина. Но напоминать взрослым об их обещании не торопился: у них и без него забот хватает. «Потерплю», — решил мальчик.

Спустя некоторое время, как-то так вышло, что Дима с отцом потерялись: мама с заинтересованным лицом нырнула в толпу возле прилавка, а они вдвоем отстали и бочком, бочком вытолкнулись из магазина. На улице отец крепко взял Диму за руку и быстро повел сначала за угол, потом через дорогу и дальше, дальше по широкой улице. Под вывеской «Чайная» отец остановился:

— Нам сюда. — Он лукаво подмигнул сыну.

— А где мама? — спросил мальчик.

— Она никуда не денется! — успокоил отец. — Походит, купит что надо, и домой вернется. Дорогу знает.

В чайной было светло и нарядно: за мраморной стойкой возле подносов с сияющей

посудой приветливая женщина в кружевной наколке на голове. В зале несколько круглых столиков — очень высоких. Несколько мужчин ели и пили стоя, стульев не было. Дима встал под один столик как под крышу.

— Дима! — позвал отец. — Посмотри, что тебе здесь нравится?

Под выпуклым стеклом лежали всякие кушанья на тарелочках и в вазах. У Димы разбежались глаза: столько конфет!

— Понятно! — весело сказал отец и обратился к пышной тете:

— Девушка, нам, пожалуйста, вот это, — он показывал сквозь стекло. — Это и вот это. И еще...

Дима изумился папиному размаху: «Сколько же денег надо!» Но отец не замечал его смущения — никто не контролировал. Можно было немного погулять.

На этот раз в отцовской кружке было что-то желтое вроде чая, но пахло — кислятиной.

Их сосед по столику одобрительно наблюдал, как отец носит от буфета закуски. У него в стакане было уже пусто, и он тоже подошел к стойке. Вернувшись с полным стаканом, он как знакомому сказал отцу:

— Ну что ж, будем здоровы?

Отец поднял свою кружку, они чокнулись и дружно выпили. Потом отец взял ломтик хлеба, намазанный черным, и стал вкусно есть. У Димы даже шоколадка замерла возле рта, так ему стало страшно за папу: ест деготь! Отец поймал взгляд сына, протянул ему бутерброд с икрой и спросил:

— Будешь есть?

Дима отрицательно замотал головой и да-

же поглубже спрятался под стол. Мальчику здесь было неуютно.

— Я им говорю, не смотрите, что у меня щека дергается и левая нога не сгибается, — рассказывал отцу сосед по столику. — Я еще ого как силен, брат. До войны-то я кузнецом был, понимаешь. А они — контуженый! Да если хочешь знать, мы все контуженые теперь. Так-то! Война всех повредила... Ну давай за знакомство, — он снова поднял стакан.

— Не гони, товарищ, — остановил отец. — Я с ребенком.

— А, ну да, конечно, — мужчина заглянул под стол. — Сын? Молодец! Мужик, значит, солдат. А у меня две девки, понимаешь. Сердитые. Рюмки не дадут. Жалеют: вы, папаша, слабый! Вам, папаша, нельзя! Я говорю, как же так нельзя? Очень даже можно! — Мужчина стукнул стаканом о крышку стола.

На этот рискованный звук обернулась буфетчица и пригрозила пальцем.

— Верунчик! Не волнуйся, мы тихо, — успокоил ее мужчина и, обратясь к отцу, сообщил: — Душевная баба. В долг верит. — Не дожидаясь отца, он отпил из стакана и продолжал: — Теперь я что? Груз на семейной шее. Они мне говорят, вы совершили свое героическое дело, теперь отдыхайте, мы вам пенсию носим. Ага. И что мне с той пенсии, а? Ну что мне с нее? Я человек, труженик... Да что там! — он махнул рукой. — Давай за твоего мальчика! Чтоб вырос героем.

Отец покосился на сына, словно что-то соображая, и медленно отпил из кружки. Потом вытащил из кармана пальто плоскую коробку, открыл и предложил соседу:

— Закуривайте!

— Дорогие потребляешь, — определил сосед. — Как начальник. На работу небось с портфелем ходишь?

— С планшеткой.

— Я и говорю, начальник. По всему видать. Воевал?

— За Уралом, — неохотно ответил отец.

— А-а, ну да, — понимающе протянул мужчина. — Значит, пороху не нюхал.

— Я такое нюхал, что тебе в страшном сне не увидеть. Оборонный завод, все для фронта. Понял?

— Пап, пошли к маме! — Дима дернул отца за полу пальто.

Тот нетерпеливо отстранил его руку:

— Подожди!

— Но мама же, наверное, ждет, — напомнил сын.

— Пойди на улице погуляй немножко, а я тут с дядей поговорю.

Дима заскучал. Он вспомнил, как они с отцом бочком выбирались из магазина, и ему стало боязно: маму-то они просто-напросто бросили, а сами сбежали. Он вышел на улицу. Уже вечерело. «Мама, наверное, дома сидит, а мы тут вот». В дверь входили и выходили мужчины. Один протянул ему баранку:

— На, пацан, угощайся.

Дима разгрыз твердую баранку, но она оказалась соленая, и мальчик засунул ее в карман.

Домой они вернулись в темноте. По дороге Дима задремал на коленях у отца и очнувшись, когда с него стали стягивать одежду.

— Клянусь, мы тебя всюду искали! — оправдывался перед мамой отец.

Но женщина, видно, уже так переволновалась, что не могла говорить, а только всхлипывала.

Дима проснулся, когда в комнате вдруг снова зажегся свет. Он разлепил глаза и увидел, что мама давит коленкой на крышку чемодана, пытаясь защелкнуть замок.

— Ничего мне от вас не надо больше. Спасибо, пригрели, приголубили неблагодарную. Больше сидеть на вашей шее не будем!

Мама говорила отцу «вы». Диме захотелось отвернуться и спать дальше. Но тут мама подошла к нему, раскрыла одеяло и стала натягивать на сына одежду. Свитер больно зацепился за ухо, и у Димы выкатились слезы. Мама сняла с себя синюю вязаную кофту, положила на стол перед мрачно молчащим отцом:

— Это на ваши деньги куплено. Возьмите обратно.

Одной рукой она взяла чемодан, другой подхватила Диму и направилась к выходу. Отец не остановил ее.

На улице Дима окончательно проснулся.

Стояла морозная ясная ночь с луной и звездами. Мама волокла Диму по улице мимо спящих домов. Впереди была черная кромка леса на другом берегу реки. «Там же волки!» — вспомнил мальчик. Но мама сильно тянула его за собой, и он не сопротивлялся.

Женщина всхлипнула, остановилась, села на чемодан.

Сзади заскрипел снег под быстрыми шагами. Дима обернулся и узнал хозяйку.

— Да будет тебе! Вон уж трясет всю, — сказала хозяйка. — Пошли в избу-то.

— Я не желаю его видеть! Хватит с меня попреков. Устала.

— Пошли, говорю! Парень вон сомлел весь, — не уступала хозяйка. — Терпеть надо, вот что. А как же? Твоя такая доля — терпи. Ну выпил, побранил. И бог с ним! Зато муж. Свой, законный. Их вон сколько война прибрала. А тебе достался целый-невредимый. С образованием. Подумай, велико ли горе твое?

Эту ночь они провели у Лизаветы Сергеевны. Диме дали чаю с медом и уложили на диван. Лизавета Сергеевна сидела за столом непривычно взлохмаченная и в длинном красном халате с желтыми крупными цветами.

— Ты идеалистка! — говорила Лизавета Сергеевна. — Хочешь, чтобы он чужого ребенка растил как родного. Отцовское чувство просто так не возникает. Природу не обманешь, дорогая моя. Вот соорудила бы ты ему еще одного, тогда другое дело...

— Ты врач, а предлагаешь такие вещи! — возразила мама. — Где гарантия, что не родится уродец?

— Он не алкоголик. Ну... прикладывается по выходным. Ну и что? Просто ты разлюбила его, сознайся.

— Разлюбила! Да на что мне эта любовь! Нынче — шепот, завтра — топот. Сам изломанный и других ломает.

— Слабохарактерный. Это верно, — согласилась Лизавета Сергеевна.

Дима задремывал. В его сознании смысл

разговора стал обретать грозную окраску. Ему приснилась ночь с луной и звездами...

Они с мамой идут по льду реки. Впереди прорубь. В черном круге воды мерцают звезды. «Я утоплюсь», — говорит мама и разматывает платок. «Помоги развязаться», — просит она сына. Дима взялся за платок, и мама вдруг стала уменьшаться и проваливаться. Дима сжал руки, в них оказался резиновый мячик. Он как-то вывернулся и упал. Тут появилась хозяйка и сказала: «Уплыла щука». Дима заглянул в прорубь и позвал: «Мама!» Он почувствовал, как сам превращается в рыбу, плывет в холодной черной воде. Ему стало жутко, и он проснулся.

Постель под ним была мокрая. Он осрамился на чужом диване. Такое с ним случилось. Мама обычно расстраивалась, поругивала «дылдушку» и не давала на ночь питья.

Дима осторожно огляделся: никого в доме не было. Он вылез, оделся. Прикрыл одеялом ночной след. И сел у окна.

Он глядел на знакомую деревенскую улицу, на заснеженные дворы и представлял себя взрослым. Вот он приходит с работы и говорит: «Мать, дай поесть! Ухайдокался как черт, — потом вынимает пачку денег из кармана и отдает родителям: — Вот заработал!» Родители глядят на него с восхищением и не знают, что в другом кармане у него лежит новенький черный пистолет с пистонами. Это он сам себе купил, только не торопится хвастать. «Подумаешь, я еще и не то куплю, когда вырасту! — решает мальчик и вздыхает: — Хорошо быть взрослым...»

...Через двадцать пять лет кандидат биологических наук Дмитрий Петрович Кондрашов станет лауреатом премии имени Ленинского Комсомола за разработку новейшего метода производства синтетических кормов. Вся полученная сумма уйдет на подарок матери. Тихая, скромная женщина всплеснет руками: «Дима, такая дорогая вещь!» «Вещь как вещь, — ответит сын. — А дорогая у меня — ты». И мать, краснея от смущения и радости, примерит шубу мягкого беличьего меха:

— Смотри-ка, в самую пору!

Краски

На этот раз Маша болела дома. Оглушенная борьбой сердечных мышц, всего организма с подавляющей неведомой силой, забывалась в полуобморочном сне, когда к горлу подступала дурнота и охватывала невесомость. Но утрам открывала глаза и упиралась в знакомую, изученную до мизерного штриха полустертую завитушку на обоях: дома! Не в больнице... Мама уже успевала бесшумно исчезнуть на работу. Но парок от чашки с чаем на стуле возле кровати говорил ясно, что вышла она мгновение назад, успев приготовить завтрак. Маша опять закрывала глаза и просыпалась внезапно, когда в окне уже стояло солнце и остывший чай подергивался мутно-радужной пленкой. Болеть ей не хотелось, потому что возникла опасность очутиться в изоляторе, откуда вырваться было невероятно тяжело. Ей надоедало быть объ-

ектом особого внимания, подвергаться бесконечным прослушиваниям, простукиваниям, улавливать на лицах врачей грустное недоумение, через дель выглядывать из окна и обнаруживать под желтым больничным забором маленькую с высоты пятого этажа, немощную мать: ну как ты? Получать увесистые, пахнущие мандаринами и сдобной ванилью пакеты с передачей, зная, что на них расходуется почти вся негустая зарплата. Теперь больницы не было. Была тишина ничем не загроможденной комнаты, их с мамой обиталища. Была легкая, зыбкого кружева занавеска на окне. Была близость выздоровления. И (в который раз) был прилив ожидания, предчувствия перемен, способных украсить и обогатить эту жизнь, где два близких существа готовы трудиться до самозабвения, оплачивая грядущие блага.

Они, мать и дочь, нередко предавались мечтам. Начиная от голубого платья, намеченного сшить когда-нибудь к празднику, кончая величиной и значительностью поприща, которое изберет себе дочь. Они так долго обсуждали будущее, что наступал вечер, и их силуэты темнели на фоне расцвеченного фонарями окна. Маше стукнуло пятнадцать. Возраст, когда все нормальные дети начинают различать предметы и факты с точки зрения их принадлежности к материальному миру. Первое откровение случилось в пятом классе. Машу обозвали «синим чулком». Потому что ее платье на школьном вечере не могло конкурировать с дорогостоящими нарядами подруг. Она замкнулась. Потом было другое. На празднование дня рождения соученицы соби-

рали деньги. Маше требовалось внести столько, сколько составлял заработок целого рабочего дня ее матери на фабрике. Она, конечно, не участвовала в мероприятии, сказавшись нездоровой. Но не задумываться о нарядной обнове и карманных деньгах было невозможно. И Маша мечтала. Воображение рисовало радужные миры, хрустальные чертоги, пленительные речи и жесты, преданные, отзывчивые умы, далекие от мелочей скудной реальности. Вслед за воображением по белому ватману тетради для рисования скользил карандаш. В пятнадцать лет малевать принцев и бабочек — позор, стыд. Маша это понимала и на скрип отворяющейся двери засовывала рисунки под подушку.

Мама вошла сияющая и первым делом включила телевизор. Присев возле дочери, обняла ее и сказала:

— Сейчас меня покажут!

Месяца два назад была некоторая суматоха. Отличную ткачиху пригласили выступить в телевизионном женском клубе. Пришлось срочно обновлять вышедшее из моды черное платье, вспомнить о бигуди и губной помаде. Раз пять перед зеркалом мама повторила выученное наизусть выступление, уместившееся на половинке тетрадного листа.

И вот на экране среди нескольких женских лиц — ее лицо на втором плане, почти спокойное, внимательное. Ведущая, яркая блондинка в переливчатом платье, живо рассказывает о женщинах-матерях, женщинах-труженицах, читает стихи о том, что без женщин не было бы на земле счастья. Потом певица, обняв гитару, исполняет старинный

романс. Потом маленькая сухонькая женщина со звездой Героя на лацкане жакета рассказывает о войне: «Мы были молодые и очень любили свою Родину, вот и выдержали, вынесли этот ужас. Победили». Потом камера надвигается на маму и она говорит: «...В знаменование». Слегка запинаясь, останавливается, тихо откашливается и уже правильно повторяет сначала: «Наша смена в ознаменование...» Маша глядит на экран, чувствует, как напряжена ее мать, с каким трудом ей дается каждое слово. В девочке смешиваются жалость и досада. Ведущая ободряюще улыбается ткачихе. И та, наконец освоившись, заканчивает неожиданно просто:

— Мы работаем, потому что все люди должны жить хорошо.

В классе Машу встретили спокойно. Только Жолобов как всегда вскинулся:

— Наш тушканчик выздоровел!

«Дурак, — думала про себя Маша. — Зачем обзывается! Шумит на весь класс! Хулиган несчастный. Второгодник». Насчет второгодника она преувеличила. Правда, учился он кое-как, хотя иногда блистал неожиданными познаниями — как правило, за пределами школьной программы. Роста он был, по ее меркам, громадного. Много смеялся — открыто, громко, обнажая крупные зубы.

«Ты ему просто нравишься, — успокаивала Машу классная вожатая. — Это хорошо! Под твоим влиянием он может исправиться». — «Зачем мне влиять на него? Как? — отвечала

Маша. — Он все время гогочет и задирается». Вожатая снисходительно гладила ее по спине и неискренне сочувствовала...

На приготовление уроков уходило немало времени. Зато потом с легким сердцем извлекала Маша заветный альбом и рисовала... Привычные звуки раздавались за стеной: ровно шумела ткацкая фабрика, выбивали ковер во дворе, соседка, шаркая тапочками, проходила на кухню. В дверную щель робко втягивались невидимые струи табачного дыма: сосед курил в коридоре. Маша рисовала Жолובהва — большой смеющийся рот, светлые волосы ежиком. Похож. А это мама — профиль с маленьким носом, верхней выступающей губой, с пучком волос на затылке. Маме сорок лет. «Старенькая! Милая, хорошая, почему нам так не повезло с отцом? За что наказание?..»

— Вот ты чем занимаешься! А я-то думаю, что это в доме беспорядок, хлеба нет, ужин не готов. Картинки рисуешь? Дай-ка сюда.

Отступить поздно. В маминых жестких руках замелькали страницы: принцессы в экзотических коронах, фантастические цветы, готические замки.

— Ох, ты! — мама быстро переворачивала листы. Потом захлопнула альбом и спросила: — Значит, баян тебе уже не нужен?

Действительно, к баяну Маша не прикасалась давно. Он стоял в черном громоздком футляре, покрытый нетронутым слоем серой пыли. Дорогостоящая великолепная вещь с отличным звучанием. Предмет глубоких надежд, символ грядущих побед.

Маша потупилась.

— Что ж, давай ужини сочинять, — вздохнув, предложила мама.

Маша чувствовала себя скверно. Как будто сейчас открылся какой-то обман, нехороший секрет. Но ведь она никого не собиралась обманывать. Просто ей надоело ворочать эту махину. Надоело на гордое мамино «Машенька, сыграй нам» в сотый раз проигрывать «На сопках Манчжурии» расслабленным, покрасневшимся от чая одним и тем же маминым гостям — тете Вере с дядей Колей и тете Марине с Кузьмой Петровичем.

— Пойми меня, дочь, — сказала мама тяжелым голосом. — Я хочу, чтобы ты жила лучше меня.

Маша все это уже слышала. Не раз.

«Зачем, зачем все сначала!» — Маша почти не слушала, потому что знала, дальше будут слезы.

— Он сгубил мою жизнь! — вспомнила мать отца. — Если бы я училась, а не жила при нем домработницей!..

— Мама, не надо. Ну я прошу тебя.

Но обе уже захлебывались. В тарелках леденела вареная картошка. Чайник, вскипая, плескал на огонь.

Маша взяла альбом и резко разорвала на две половинки. Мать ударила ее по рукам. Подобрала распавшиеся листы и пригрозила:

— Не смей!

Утром они сдержанно попрощались.

А после уроков седьмой «Б» повели на фабрику показывать производство. В красном уголке висел плакат с надписью: «Нашей тканью, выпущенной за пятилетку, можно

обернуть земной шар 52 раза!» Ребяг оставили у доски Почета. Третья в нижнем ряду справа была Машина мама в своем неизменном черном платье с белым кружевным воротником.

— Гордись, тушканчик! Твоя матушка на Доске, — не упустил случая Жолобов.

Маша приятно смутилась. Но боялась, что их поведут в мамин цех. Их не повели. Пришел мастер из прядильного, стал рассказывать, как делается нить, ткется полотно и в какой хороший коллектив попадут ребята, если придут сюда работать после окончания школы. Ученики дружно кивали, умно поддакивали и втихомолку дурачились. Сушили потянул нить бобины со стенда и стал исподволь ее разматывать. Бобина, поскрипывая, раскручивалась, а Сушили, набрав пушистый комок нитей — легких шелковистых волокон — не зная, что с ними делать, сунул в карман передника строгой звеньевой Ракичиной. Та брезгливо дернулась и отбросила комок на соседа. Прошелестел общий смешок. Оживившись, уже не могли успокоиться. Выйдя из проходной, не торопились по домам.

— Есть предложение рвануть в «Космос», — воскликнул Жолобов. — Кинолента века! Война динозавров.

— А билеты? — откликнулось несколько голосов.

— Обеспечу! — пообещал вожак.

— Годится!

Охотников до зрелища оказалось шестеро. Жолобов сжал Маше плечо: «Ты с нами». Она пошла. По дороге разговаривали о хок-

кее, о новой марке «Москвичка». Никто не говорил, что будет делать после окончания школы...

Они обманулись. «Динозавры» предстояли на будущей неделе. А пока что шел двадцатилетней давности фильм, ежегодно повторявшийся по телевизору. Маму он трогал до слез, а Машу приводил в недоумение наивным пафосом обыкновенной и величественной были.

— Антиквариат! — вздохнул Сушили.

— Ты нас смутил, Жолоб, гони мороженое!

У киоска образовалась шутливая потасовка. Проходящая мимо них старушка укоризненно оглядела Машу: одна среди хулиганов!

— Я пошла, — сказала Маша.

— Постой! Держи батончик, — Жолобов протягивал ей мороженое.

— А, тушканчику с орешками, а нам? — заметил Сушили.

— Тушканчик маленькая. А ты — балабол.

— Мне нельзя мороженое, — ответила Маша. — Отдай ему.

— Подожди, — пошел за ней Жолобов. — Мне нужно у тебя спросить...

Ребята понимающе переглянулись.

— Ну погоди, тушканчик, не убегай, — Жолобов догнал ее.

Она посмотрела на него и вновь поняла, что он совершенно, ну абсолютно не соответствует нежному образу, сочиненному ею в часы одиночества.

Она холодно сказала:

— У меня есть имя.

— Не нервничай, — тихо сказал Жолобов. Взял ее портфель и пошел рядом.

Еще в коридоре Маша услышала незнакомый голос. В комнате за столом сидела мама и какая-то женщина. Перед ними разложены Машины рисунки — все ее принцы и фантастические кущи.

— Познакомься, Маша, это Александра Степановна, художница с нашей фабрики. Она согласилась тебе помочь.

— В чем? — насторожилась Маша.

— Ну как же! В живописи. Ты же рисуешь. Может, это и есть твое призвание.— Мама волновалась, явно конфузилась перед гостьей.

— Не бойся, Маша, я не буду поучать тебя,— успокоила Александра Степановна.— Способности, какие бы они ни были, нужно развивать. Ты способная, я вижу. Но чтобы увлечение твое не прошло впустую, нужно дать ему направление, понимаешь?

Маша с недовольством понимала одно: вторглись в ее заветное. Разглядывают, оценивают. И наверное, хмыкают про себя: вот глупенькая, вот дурочка. Нужно было прекратить это. Собрать со стола рисунки. Но мама так трепетно, внимательно прислушивалась к объяснению художницы, так согласно наклоняла маленькую голову с пучком на затылке, что Маша замкнулась и решила терпеть.

Александра Степановна по очереди брала рисунки, разглядывала, то приближая к глазам, то отдаляя, одобрительно кивала:

— Интересно. Хорошо. Очень мило.— Потом она спросила девочку: — Хочешь стать художником?

— Не знаю. Не думала...

Мама встрепенулась:

— А надо бы думать! После школы-то куда пойдешь? Успеваемость средняя. В институт не сдашь. Что же, на фабрику с твоим здоровьем идти? Нужно думать!

— Время есть, Машенька,—успокоила художница.— Толковый рисовальщик всегда нужен. Выучишься, не пропадешь. Ну а если у тебя талант, здесь потруднее будет. Талант—это как клеймо. Индивидуальность! Понимаешь?

— Вы ей втолкуйте,—попросила мать,— что на безделицы время расходовать—большая роскошь для нас. Маше надо на ноги становиться, дорогу себе определять, помогать мне... материально.

— Хлеб художника черствый,—заметила Александра Степановна.

— Нам не страшно. Потерпим. Лишь бы результат был.

— Все может быть,—Александра Степановна задумалась.— Вот что, Маша. Я позволю одному художнику, настоящему, чтобы он посмотрел твои рисунки. У него большие возможности. Может, порекомендует тебя в хорошую студию. Надо вылезать на люди, смотреть, как работают другие, перенимать навыки, понимаешь?

— Это дело!—подхватила мать.— Коли баян побоку, берись обеими руками за другое. Бог с ней, с музыкой.

— Вот адрес. Его зовут Аркадий Максимович,—женщина вырвала страничку из записной книжки.— Обязательно пойдн туда.

— Пойдет! Пойдет,—заверила мать.— Неужто упустим такую возможность? Спасибо

вам, дорогая Александра Степановна! — И, погладив дочь по голове, распорядилась: — Собери картинки. Угостим нашу гостью замечательным борщом.

— Нет-нет, мне пора, — поднялась из-за стола женщина.

— Мы быстро. Он еще горяченький. Не обижайте! — мама выпорхнула на кухню.

На двери краской от руки было написано: мастерская. В полумраке лестничной площадки Маша поискала звонок и нажала. В глубине, где-то далеко прозвенело.

— Входите! Дверь открыта, — донесся мужской сильный голос. Маша вошла. В длинном коридоре пахло сыростью. На вешалке висело грязноватое вафельное полотенце.

— Раздевайтесь! — пригласил тот же голос.

Зеркала не было, и, пригладив волосы, Маша открыла одну из дверей. На диване прямо против входа полулежала голая женщина с отсутствующим лицом.

— Простите! — испугалась Маша и попятилась назад, больно зацепив локтем за дверную ручку.

Из-за двери выглянуло большое, обрамленное пышной шевелюрой мужское лицо:

— Подожди там!

В соседней комнате стояла тахта, покрытая пестрым деревенским ковром. На журнальном столике немытые кофейные чашки, коробка с остатками сдобного печенья, шоколадная обертка. Около стен громоздились натянутые на подрамники холсты. На подокон-

шке перовыми стопами лежали журналы, книги, стояла большая керамическая кружка с пучком разномастных кистей.

— Тебя как зовут? — художник вошел, взглядываясь в посетительницу. И, не дожидаясь ответа, спросил: — Это Саша про тебя говорила, что ли? Почему она не приходит? Ты ее родственница?

— Я... нет... мы, — Маша не успела вклиниться в его речь и умолкла.

— Ну, хорошо. Ладно. — Художник наклонился к Маше: — О-те-те, какая у нас интересная девочка. Поверни сюда головку! — Он взял Машу обеими руками за голову, повернул влево, вправо, прищуривая глаза, притянул к себе и поцеловал в лоб. — Знаешь, кто такой Боттичелли?

Маша пожала плечами.

— Это ты.

— Я ухожу! — сказала женщина за дверью и появилась в светлой пушистой шубке, в высоких лаковых сапогах. Она совсем не стыдилась того, что ее рисовали голую только что там, в соседней комнате. Она была красива. От нее исходил аромат нежных духов.

Маша почувствовала убожество своего коричневого платья, свою детскость и непригодность.

— Можно меня не провожать, — женщина милостливо протянула руку, художник поцеловал:

— Спасибо, бесценная! Жду к двенадцати во вторник.

Они вышли в коридор. Глухо стукнула входная дверь. Маша обернулась: на стене висел портрет женщины в красном платье.

— Нравится? — спросил художник.

— Да...— Маша ответила машинально, хотя толком не поняла, действительно ли ей это нравится: в женщине отражалось что-то свирепое и грустное одновременно. Красного цвета слишком много...

— Что скажешь об этом?— художник стал поворачивать холсты, расставлять для обзора.

Лица плоские и яркие. Пейзажи с преобладанием осеннего золота. Голый мальчик с барабаном. Маша разглядывала, кивала, но боялась что-либо произнести невпопад.

— Вот это смотри!— художник извлек из штабеля небольшую картину в сине-зеленых тонах с проблесками желтого: угол стола, рыба, опрокинутая солонка.— Нравится?

— Да, нравится.

— Это гениальная вещь! Когда меня не станет, все, — художник указал на холсты, — пропадет к чертовой матери. Это останется. Понимаешь?

Маша молча кивнула.

— Молодец. Понимаешь,— художник крупно зашагал по комнате, сложив на груди руки и слегка втянув голову в плечи.— Работать без оглядки! Свободно. Широко. Знаешь, как я работаю? Вот видишь краски? Вот!— он взял тюбик из плоского футляра.— Это стоит чудовищно дорого. Я кладу его на холст. Одним штрихом, понимаешь? Я не скуплюсь на краски. Я их не жалею. Я жалею, что не выплесну себя, не успею, понимаешь?

Маша заскучала. Ей захотелось домой. У нее засосало под ложечкой. Оставшееся печенье вкусно лежало на дне коробки. Но без приглашения угощаться нельзя.

— Сколько тебе лет? — вдруг спросил художник.

— В марте будет шестнадцать.

— Да-а,— неопределенно протянул художник, взяв со стола помятую пачку сигарет.— Маленькая Ботичелли...— Потом вынул из стопки на окне широкий иллюстрированный альбом, протянул Маше, спросил:— А это тебе нравится?

Из глубины чистого, окаймленного белыми кущами облаков простора глянул скорбный, величавый лик... по зеленому лугу далеко-далеко уходила фигура человека в развевающейся одежде... полуголый черный раб разглядывал жемчужину у ног властелина...

Художник взял альбом, захлопнул и со вздохом сказал:

— Это вечное. Это навсегда.— Он опять зашагал по комнате, куря и забывая стряхивать пепел.

— Я пойду домой,— Маша поднялась с тахты.

— Ступай, деточка, иди, раз надо. Тебя мама ждет. Или какой-нибудь мальчик? У тебя есть мальчик?

Маша пожала плечами.

— Жаль, что я не могу быть твоим мальчиком...

Маша сказала, одевшись:

— До свидания. Спасибо вам.

— Не за что, милая. Заходи ко мне, когда тебе исполнится восемнадцать.— Он поцеловал ее в губы. Когда нечем стало дышать, она уперлась руками ему в грудь и почти оттолкнула от себя.

На улице ей кинуло в лицо охапку сне-

жинок. Утершись рукавом и чувствуя, как дрожат ноги, она побежала к трамваю, держа под мышкой так и не раскрытый сверток с рисунками. В грохочущем, полном влажного тепла трамвае на нее уставился парень с таким видом, будто знал, что ее только что грубо по-взрослому поцеловали в губы. Она отвернулась к замороженному окну, и красные, желтые, синие ледяные искры расплылись в огромные водяные круги.

«Как много еще нужно узнать, как много преодолеть, чтобы все вокруг поняли тебя и перестали унижать. Как хочется сделать такое, что изумило бы их навсегда и дало тебе право распоряжаться собою и делать то, что кажется прекрасным и необходимым! А эти дурацкие цветочки — долой. Вон! Эти приторные личики, эти розовые дворцы, кому они нужны? Детская забава. Грезы... Не буду я никакой художницей», — говорила себе Маша и крепла в своем решении.

Дома пахло мимозой.

Подошла мама, тронула мокрую челку на лбу дочери и протянула плоскую коробку:

— Это тебе!

— Что это? — спросила Маша, уже догадавшись. — Зачем? Это же очень дорого стоит...

— Всего пять рублей тридцать копеек, — пояснила мама. — Разве это расход! Ведь тебе нужно. Не думай о деньгах. Искусство надо подкармливать, а то зачахнет.

О художнике мама не спросила. Наверное, поняла, что здесь торопиться не стоит.

Шкатулка

Случилась большая беда. Петя хотел только влезть на подоконник и посмотреть с четвертого этажа, не бегают ли кто уже во дворе. Он придвинул табурет к окну, встал на него, чуть махнул рукой, удерживая равновесие, и — бах-тарах! С деревянной полочки упала мамина шкатулка. Драгоценная дорогая штатулка с двумя флаконами духов и баночкой пудры. Никто кроме мамы не прикасался к этим вещам. Даже Капитолина Антоновна, которая каждую субботу ходила на танцы и долго-долго перед тем прихорашивалась, глядя в зеркало раскрытого шифоньера. Даже она не посмела одалживаться от маминого набора, хотя очень любила и духи, и пудру. Петя помнит, как мама развернула хрустящий сверток, вынула расписанную золотым узором коробку. У Капитолины Антоновны поднялись тонкие брови, и она восторженно протянула: «Ах, вот это подарок!» Мама пожала плечами и поставила духи на полку.

Пока Петя сползал с табурета, поднимал распавшиеся флаконы, по всей комнате запахло женским праздником. Запах стоял такой сильный, что, наверное, слышался в коридоре. Как с ним поступить, Петя не знал. Конечно, когда все придут, сразу поймут, в чем дело. Мама поймет и огорчится. Ведь она ни разу этими духами не душилась и пудру не открывала, потому что на танцы никогда не ходила. А по воскресеньям у них был банный день. С утра мама стирала, потом мыла Петю в душе после всех, потому что

парню семь лет, и в женском отделении ему делать нечего. Мама его больно мыла, торопила — скорее, а то девушки придут. В их комнате все были девушки, кроме мамы, даже Капитолина Антоновна.

Она любила поставить руки на пояс, тряхнуть головой в мелких кудряшках шестимесячной завивки, притопнуть лакированными танкетками и воскликнуть: «Я девица хоть куда, не глядите, что худа!» Ее любили и жалели. Любили за то, что всем помогала, обо всех беспокоилась. Успевала, прибежав с работы, занять на кухне конфорку, заварить чаю и пригласить: «Девчата, у меня чайная колбаса пропадает, помогите одолеть!» Жалели, потому что ее знакомые солдаты жарко прижимались к ней в тени танцверанды, но слишком быстро скучнели при словах «разнорабочая», «из деревни». «Вот комнату получу, тогда посмотрим», — успокаивала себя Капитолина Антоновна.

О комнате говорили все. О своей. Отдельной. Петя с мамой тоже любили мечтать, как они будут жить только вдвоем. Никто не будет слышать их разговоров, смотреть, что они едят. Никто не войдет среди ночи, не включит свет, не станет шумно раздеваться и скрипеть кроватью. Никто не скажет — выйди, отвернись.. Можно будет звать ребят, и пусть они трогают, что хотят, и разглядывают, что им нравится. Жить в своей, пусть крохотной комнате — не то, что в общей, даже такой огромной, в которой помещаются пять железных кроватей, пять тумбочек, круглый стол со стульями и шифоньер. Конечно, здесь хорошо на праздники, когда кровати

сдвигаются или вообще выносятся в коридор, составляются в один длинный несколько столов и устраивается пир. Приходят девушки из соседних комнат с ведром винегрета или с селедкой в крупных кольцах лука. Включают патефон, весело сдят и поют — хором, все вместе. Тогда в большой комнате хорошо. И все же... Это была цель. Мечта, требующая силы. Все, что делалось хорошего в жизни, было во имя отдельной комнаты. А все плохое — в ущерб главному. И вот он, ущерб, налицо: пролитые духи, растрепанная коробка, предстоящий разговор.

Конечно, я не виноват, думал Петя. Я только чуть-чуть задел, а она уже упала. Но ведь у мамы больше ничего хорошего нет. Вон у тети Любы на тумбочке кружевная салфетка и вазочка с розой. У тети Маруси цветные открытки в рамочке под стеклом. А у тети Тоси целый ковер над кроватью висит. У них же с мамой на тумбочке только зубная паста и мыло. Вот бы я скорее вырос, думал Петя, стал бы зарабатывать и купил бы маме хороший подарок. В магазине же много разных вещей, только денег нет. У мамы есть немножко, но она их в чемодан положила на самое дно — до полочки дожить. Петя присел, вытянул из-под кровати чемодан и открыл. В чемодане лежало белое кружевное покрывало, мамина выходная блузка, коробка с мамными выходными туфлями и Петино белье. Денег не было. Петя посмотрел вокруг: под каждой кроватью стоял свой чемодан. А у тети Тоси даже два. Петя подошел и открыл один: поверх полотенца лежали три рубля. Петя взял деньги и открыл второй

чемодан. Там денег не было. Мальчик полез под соседнюю кровать. В этом чемодане лежала фотокарточка моряка и целых двадцать пять рублей. Вот здорово! Да на эти деньги можно целую кучу подарков закупить. Петя повеселел. Он сунул деньги в карман и пошел на улицу.

Во дворе еще никто не собрался. Дворник разворачивал резиновый шланг, намереваясь полить газон.

— Скучаешь? — кивнул он мальчику.

— Не-а. Я в магазин иду.

— Ишь ты!

Промтоварный магазин стоял далеко. Одному идти не хотелось, и Петя зашел в буфет. Там, под выпуклым стеклом, возлежали горы леденцов и подушечек, нарядно топорщились фантики дорогих конфет. Соблазн был слишком велик.

— Шоколадку! — сказал Петя, протягивая деньги.

— Сдачу возьми, богатей, — окликнула его буфетчица.

Шоколад откусывался так хрустко. так нежно таял во рту, что Петя незаметно съел половину огромной плитки. Обертку с картинкой он великодушно решил подарить Сереге, своему дружку из семейного общежития. Серега любил фантики. Вот бы он увидел, как я шоколад ем, думал Петя, а то все хвалится, что съел сто «Мишек на Севере», а у самого только три фантика.

Но никто не видел Петиного блаженства. Взрослые были на работе, а ребята где-то бегали. И тут Петя заметил Соню, девочку с пятого этажа. Петя всегда удивлялся ее ред-

ким, по крупным черным кудряшкам, потому что знал — детям кудри не завивают. А у Сонн были настоящие, шелковые, блестящие. Петя откусил от плитки, вынул изо рта кусочек и протянул девочке. Та взяла, мгновенно съела и, глядя на остальное, сказала:

— Исе дай.

«Это Сереге»,— решил Петя, пряча лакомство. Что мне, жалко, думал он, пусть и Серега поест. Когда у него будет, он мне тоже даст. Довольный своим решением, он побегал в соседний двор поискать ребят.

Домой Петя плелся усталый и скучный — набегался. Ему было жарко. Хотелось пить. Он зашел в туалет, открыл кран и, набирая пригоршнями, долго-долго пил.

Мама вышла из кухни. «Наконец-то! Я тебя заждалась прямо. Давай ужинать». Толстые жирные макароны не лезли в горло. Петя давился и кашлял.

— Опять? — мама глядела строго и осуждающе.— Целый день ничего не ел. Что же ты со мной делаешь, бессовестный! Чтобы тарелка была пуста, понял? Потом поговорим об остальном.

Петя замер: шкатулка! Он про нее забыл. Надо было сразу попросить у мамы прощения, все объяснить. Он было и рот раскрыл. Но все горло и шею вдруг сдавила какая-то горячая сила. В глазах помутнело от слез, и уши словно забило ватой. Он сидел с непрожеванными макаронами во рту, с красным горячим лицом, умоляюще и жалко глядя на мать.

— Господи, да что с тобой? — Мама на-

чала сердиться.— Ешь, окаянный! — крикнула она и ударила вилкой по столу.

Пришедшие с работы девушки тихо и понимающе переглядывались. Капитолина Антоновна села к столу и стала намазывать хлеб маслом. В ее стакане, в золотистом чае, мягко оседали чайники и на дне распадался кусок пиленого сахара.

— Куда же я их засунула, дура непутевая? — Люба рылась в чемодане, перекладывала с места на место сложенные стопкой вещи.— Ведь лежали тут, я помню.

— Что ищешь? — поинтересовалась соседка.

— Двадцать пять рублей приготовила в деревню послать — и нету! — удручалась Люба.— Что же это такое?

— Куда ж они могли деться, если ты их точно клала? Не взял же их кто,— увещевала ее Тося.— Ищи лучше.

Петя слышал разговор, но суть его не доходила до мальчика. Он понимал одно: что-то большое, неприятное давит ему на горло. И это большое случилось по его вине. Сейчас все поймут, что Петя плохой, и перестанут с ним разговаривать.

— И у меня трешка пропала,— развела руками Тося.— Вот те на!

Все переглянулись и почему-то уставились на Петю. Мама спросила ужасным шепотом:

— Ты?

Петя заплакал. Мама закрыла лицо ладонью и сказала:

— Мой сын!

Девушки вышли из комнаты. За дверью послышалось: «Вот они, культурные!», «Тише,

вы, из-за тройка...», «Мы сроду замки не зашпирили», «Мать-одиночка».

Петя видел, как мама напряглась, покраснела — то ли от стыда, то ли от гнева. Нужно было что-то сказать, успокоить ее. Но мальчик не мог встать, подойти и даже пошевелиться...

Он плыл в горячем облаке, выныривал из душного тумана, видел сердитые осуждающие лица и снова окунулся в жар. Он заболел свинкой. Ему приснились пролитые духи. Запах от них исходил такой тяжелый, плотный, что не было спасения. Он окутал мальчика, сжал, как пеленки когда-то в младенчестве, и не давал пошевелиться.

Утром пришел детский врач, хмурая женщина в белом халате, с чемоданчиком. Забыв поздороваться, она прежде всего указала:

— У вас душно в комнате. Нужно проветривать!

Мама поставила для нее стул около кровати.

— Это что? — сердито спросила врач, указывая на ребенка. — Снять! Все снять!

Мама стала раскутывать сына: теплую пушистую шаль тети Тоси, штапельный платок, марлевый компресс на горле. Запахло скипидаром.

— О, боже! — сказала врач и развернула мальчика к свету.

Мама стояла за спиной врача и тоскливо смотрела на сына. Петя давно уже собирался заболеть, чтобы мама вот так на него смотрела и жалела его, маленького, и простила ему все прегрешения. «Вот я и заболел, — подумал Петя. — И мама меня жалеет». Но

В этот раз болезнь была неприятной, и захотелось поскорее выздороветь.

— Три дня. Больше не положено, — сказала врач.

Это означало, что мама будет ухаживать за Петей три дня и не ходить на работу. В прошлый раз, когда у него была ангина, она тоже не ходила, а читала ему вслух сказки Андерсена. Станет ли она ему теперь читать?

В дверь просунулась голова Сереги.

— Болеешь?

Петя лежал, глядя в потолок. Мама ушла в аптеку. Серега подошел к товарищу:

— Какой ты раздутый! Тебе больно?

— Угу,— промычал Петя.

— А мы сегодня на поле пойдем и в карьер прыгать. Жалко, что ты заболел... Тебя мать била?

— За что?

— За то, что деньги своровал.

— Я не воровал,— заявил Петя.

— Ври больше! Я слышал, бабы шумели на кухне.

Петя вдруг понял, что он не просто взял из чужого чемодана деньги. Он их стащил. Мальчик поднялся, надел ботинки и пошел к двери.

— Я сейчас,— сказал он товарищу, неловко повернувшись.

В туалетной комнате он вывернул карман, сгреб всю мелочь, что осталась от вчерашних трат, и бросил в унитаз. Часть монет оказалась на виду, увеличенная пленкой воды.

Мальчик потянул шнур, и урчащий поток смыл серебро с медью.

Но совесть его не успокоилась.

...В дверях столичного гастронома столкнулись двое: женщина лет пятидесяти и молодой человек в яркой спортивной куртке. В каждой руке у нее по хозяйственной сумке. Молодой человек нес нераспечатанную коробку баночного пива. «Петя?» — неуверенно спросила женщина. Молодой человек взгляделся в нее: «Кого я вижу! Капитолина Антоновна! Сколько лет!» — «Узнал соседку, — обрадовалась женщина. — Столько времени прошло, а узнал». — «Детская память, говорят, цепкая. Да и как же мне вас забыть, милая моя тетя Капа?» — «И то правда. Одной семьей жили».

Они вошли в магазин, расположили вещи на подоконнике и разговорились. Она рассказала ему, что живет у племянника, нянчит его малыша. «Такой хорошенький, такой славный! Только аллергия у него на апельсины».

— Я, Петенька, довольна своей жизнью. У меня есть близкие, родные. Я не только для себя живу. Может, в этом и счастье.

Он не стал хвастать о своих достижениях, умолчал о заграничных командировках. Сказал только, что детей пока не завел, потому что жена ушла от него, а новой подруги пока не обрел. «Зато мама здорова, слава богу». Потом, слегка замаявшись, он спросил:

— Помните тот случай, когда я деньги взял из ваших чемоданов?

— Какие деньги? — притворилась женщина. — Ничего такого не помню.

— Я своровал ваши деньги.

— Ты что-то путаешь. Ты не был вором. Ты был очень нежный, хороший мальчик. Мы тебя все любили.

Он взял ее руку в серой трикотажной перчатке и поцеловал.

— Я вас подвезу. У меня тут машина, — предложил он.

— Куда же ты меня подвезешь. Я ведь в этом доме живу. На третьем этаже, квартира восемь. Заходи в гости. У нас квартира хорошая, большая. Отдельная!

— А я хату жене оставил. Сейчас у мамы живу. У нее тоже — отдельная...

Не вызывайте маму

Мальцева была хорошенькая и одевалась лучше всех девочек в санатории: и пальтишко, и шерстяная кофточка, и почти игрушечные белые валеночки на ней были точно по размеру. Все мальчики, даже самые безалаберные и драчливые, глядели на нее с тайным восхищением.

После завтрака собирались на прогулку.

— Фу, дурак! — Мальцева оттолкнула Витю Мерзликина, невзрачного, стриженного наголо подростка с неестественно большим при его худобе животом. Из-за водянки он чаще других просиживал в процедурном кабинете.

— Я нечаянно, — попробовал оправдаться

Витя, поднимая с пола придавленную башмаком пушистую шапочку.

— За нечаянно бьют отчаянно,— вступился Валерик Бочкарев и поднес к его носу кулак.— Понюхай, чем пахнет.

Миша надула губки, отряхивая шапочку:

— Пузатик несчастный...

— Оделись? Марш на улицу! — Воспитатель Станислав Петрович вышел из учительской, застегивая пальто.

Пригородный санаторий для детей и подростков располагался в старинном добротном особняке на возвышенном берегу мелководной реки, которая в эту пору стояла подо льдом, и ровная снежная гладь ее кое-где была испещрена петлями заячьих следов. Детям строго-настрого запрещалось спускаться с берега. Они ходили парами, растягиваясь цепочкой вдоль расчищенной от снега аллеи взад-вперед.

Станислав Петрович не был разговорчив. Он вслушивался в ребячью болтовню, хмуро отмечая про себя, что эти так называемые больные дети довольно бойки на язык и не упускают случая пошалить.

Он всегда помнил, что должен щадить их, поэтому старался не реагировать на стихийные междоусобицы. Каждого ребенка в отдельности он жалел. Но все вместе они тяготили его.

«Ходячими» были не все дети. Некоторые, ослабленные, вместо гулянья лежали на террасе в синих ватных мешках и чаще всего спали. В том числе и Маша. На днях ей исполнилось двенадцать лет. От мамы пришла посылка с конфетами и набором художествен-

ных открыток, с которых Маша срисовывала цветы. Она лежала в мешке, мечтая стать взрослой, помогать маме.

— Лежишь, королева Несмеяна? А мы белку видели. Настоящую!

Розовощекая Мила чувствовала в бледнолицой худощавой девочке соперницу, хотя у Маши не было густых темных кудрей и туфель с лакированными пряжками. Было пальто «на вырост» — длинное, широкое. Маша радовалась, что под мешком его совсем не видно.

До обеда оставалось время. Освеженные прогулкой, дурачились в коридоре мальчишки. Мила рылась в шкафу, ища новую юбку. Лена Ерастова уткнулась в книжку. Маша раскрашивала в альбоме анютины глазки.

— Девочки, хорошая у меня юбочка? — Мила вертелась, поглядывая на подруг в ожидании похвал.

— Юбка как юбка, — едва взглянув, обронила Маша.

— Тебе завидно, вот и злишься.

— Подумаешь!

— Подумаешь, да не скажешь! — Мила высунула язык.

— Глупая, юбкой хвастается.

— От глупой слышу.

— Мила, да ну ее! — оторвалась от книжки Лена. — Иди прочти, тут место одно, умрешь!

Обе склонились над книжкой, потом взглянули друг на друга и прыснули.

— Погоди, вот тут еще, — Лена перевернула несколько страниц. Их многозначитель-

ные переглядывания означали, что текст был педозволенный.

Маше очень хотелось вместе с ними заглянуть в книгу, стать участницей их тайны. «Вот еще унижаться! — успокоила она себя. — Пусть хихикают. Я такую картинку нарисую, что они пожалеют».

Отвернувшись, Маша рисовала девочку с красивыми синими глазами, тонкой талией, в изящных туфельках и воздушном наряде. Это была она сама. Девочка шла навстречу прекрасной жизни, полной беззаботных шуток, веселья, улыбок. Конечно, ее не мог не заметить один хороший мальчик с синими глазами. Вот он рядом, готовый на искреннюю дружбу.

— Мое платье срисовала! — Мила стояла за спиной, оценивая рисунок. — Это я. А это Валерик Бочкарев. Идем в загс, хи-хи!

— Совсем не похоже. У тебя волосы черные, а тут желтые, — возразила Лена.

— Я покрасилась в блондинку. А что!

— Пионеры не женятся, вот что. У него красный галстук.

— Откуда видно, что галстук пионерский? — настаивала Мила. — Это шарфик. Правда, Маша?

Маша пожала плечами.

— Давай ему усы подрисуем, — Мила взяла карандаш и склонилась над листом.

Льняной мягкий чубчик мальчика вздыбился спиралевидным коком, над алым ртом встопорщилась щетина усов. Мила вошла во вкус. Во рту бывшего мальчика задымилась папироса. Мила хихикнула и написала: «Ванька-тракторист».

Сквозь воздушное платье его соседки проступила восьмерка черного бюстгальтера. Мила задумчиво покусала кончик карандаша, и вывела рядом: «Клешка-буфетчица».

— Ты даешь! — изумилась Лена. Она тоже подхватила карандаш, слегка оттеснила подругу и нарисовала одного за другим двух ушастых, ноги растопыркой, человечков. Маша безоруженно смотрела на веселящихся подруг.

«Погоди, дай», — смеясь, девочки тянули друг у друга листок. Мила приписала: их дети рахиты.

— Дайте-ка сюда! — Станислав Петрович занес над их головами руку. Никто не слышал, как он вошел. Маша похолодела.

Станислав Петрович взял листок, рассмотрел, хмыкнул «Ну-ну» и вышел.

— Что теперь будет! — Лена театрально взялась обеими руками за голову.

— Подумаешь, что такого! Посмеяться нельзя? — Мила пожалала плечами и крутанулась на каблучках.

Маша запомнила подозрительный осуждающий взгляд педагога. Страх нашел на нее. «Он, конечно, думает, что все это я. Сообщит маме. Отправит домой... Мама огорчится. С таким трудом достали путевку, и вот!»

...Ночью ей приснился отец. Он сидел у окна и чистил охотничье ружье. Маша открыла тумбочку, где хранились патроны, — вспугнутая светом, кинулась врассыпную стая плоских шуршащих тараканов. «Все из-за меня. Мама не приходит. Тараканы бегают». Маша окликнула отца. Он обернулся и голо-

сом Станислава Петровича сказал: «Срази-ли! Это ж надо такое придумать!»

В комнату влетела Мила и радостно сообщила:

— Мы с Бочкаревым теперь будем вместе лечиться.

Лена сникла. Ей нравился Валерик, самый сильный из всех мальчиков. Но ее с ним ничто не объединяло. «Ну и милуйся со своим Валериком», — подумала она и под села к Маше. Та аккуратно скатывала в трубочку белую капроновую ленту, собираясь завязать бант перед пионерским сбором. Белую блузку Маша до сих пор берегла в чемодане и сегодня надевала словно обповку.

— Ай-ай-яй, тихоня! — Мила указывала на Машу. — Это специально так сделано. У самой соски торчат. Других обзывает воображаками, а сама-то!

Действительно, на полосках атласной материи, которыми мама расставила блузку, симметрично выдавались два зернышка. Замены не было. Пришлось идти в этой блузке, которая стала вдруг позорной. Почти всю лицевку Маша пробыла со сложенными на груди руками. Ей предстояло читать наизусть стихотворение Маяковского, но она сделала вид, что забыла его, и не вышла.

— Что будем делать с тобой? — спросил Станислав Петрович. — Учишься слабо. Ни с кем не дружишь, замыкаешься. Какие-то неприличные картинки малюешь, стыдно.

Маша стояла перед учителем, глаза наполнялись большими слезами. Горло перехватило. Она поняла, что все кончено. Вызовут маму. Она придет хмурая, утомленная,

как всегда после работы. У нее не будет сил бранить Машу, она только скажет: эх ты!

Станислав Петрович неожиданно притянул Машу к себе. Ее нос неуклюже ткнулся в пуговицу белого халата, и слезы потекли. Большая теплая рука легла на острый детский затылок. Задыхаясь, пересиливая себя, девочка проговорила:

— Не... не вызывайте маму!

В туалете для персонала возилась нянечка с тряпкой и ведрами. Закурив, Станислав Петрович шел по коридору.

У Станислава Петровича своих детей было трое. И свои, и чужие пугали и радовали его. И те, и другие ждали от него внимания, шалили, исподтишка наблюдая за его реакцией. Весь его недолгий опыт казался вдруг ничтожным, никчемным, когда жена говорила ему: «Не умеешь влиять на детей, а еще педагог!» Эти девочки с их картинками — такие хитрые и такие слабые одновременно. Как с ними разговаривать, какие истины в них вкладывать, если они днем и ночью думают о маме с папой, пересиливают бесконечные детские недуги, радуются воробью на улице, набухающим почкам, считают дни до конца заезда и тычутся ему в халат мокрыми лицами?

Станислав Петрович вел детей на прогулку и, проходя мимо тонкого кривого деревца, думал, что каждый из этих ребят похож на деревце: пока оно вырастет, его будут задевать, царапать, надламывать другие, более

сильные. Станет ли оно после всего — стройным и красивым — настоящим деревом?

И он отводил глаза в сторону, чтобы сомнений его не заметили двенадцать пар смиренных и шустрых, добродушных и хитрых, смешливых и настороженных глаз.

Живая рыба

Таня Миронова решила изменить своему мужу, Сергею Миронову, инженеру-конструктору лодочных моторов, интересному, спортивного сложения мужчине тридцати лет.

Эта мысль пришла к ней, пока она стояла в очереди за живым карпом. Ей повезло: магазин только что открылся после обеда, народу было не так много. Зато кончался карп, и очередь волновалась. Таня тоже волновалась: годовалого сына Петю она уложила спать на балконе, закутанного в три одеяла. «Как бы не проснулся и не начал кричать, иначе опять соседка услышит. В субботу поймала Сергея возле лифта и начала причитать: как можно ребеночка без пригляду оставлять! А что же прикажете делать, если нужно по хозяйству крутиться?» Сергей, естественно, отчитал жену. Не так чтобы очень сердито, но слишком методично, наставительно. Таня всплакнула в ванной, вспомнила свои прежние обиды, приготовилась дать отпор. Но пора было купать сына, и она вышла из ванной с красным замкнутым лицом...

— Не стойте! Рыба кончается.

— Как кончается? Магазины только открылись, — зашумели в очереди.

— С утра надо было приходиться. Две тонны продали.

— С утра мы работали...

— Кончай базарить, дед. Стал в очередь и жди спокойно.

— Не учи меня, молокосос. Тебя еще на свете не было, а я...

Пошло-поехало. Пока страсти разгорались, товар иссяк. Но Тане все-таки досталась последняя рыбина. Ужин был обеспечен.

Скинув сапоги в прихожей, Таня ринулась к балконной двери. Петя лежал с закрытыми глазами. «Спит мой хорошоночек, — успокоилась она и стала раздеваться. — Приготовлю карпа в сметане. Пальчики оближешь! — Таня остановилась. — Зачем же я его так кормлю? За что? За ледяной голос, за безразличие? Балда неразумная! Создала ему красивую спокойную жизнь, теперь кукарекай. Щи разогрею — и будет с него. — Она оглядела себя в зеркало и, передразнивая, сказала: — Ты неумеха! Ты нерадивая! Кто его заставлял на мне жениться? Ну кто? Не нравлюсь я ему, ну и ладно. Мне он тоже, может, разонравился. Возьму вот... и все».

В углу возле двери зашуршало. Карп живой еще. Таня наполнила ванну, вывернула в нее целлофановый пакет. Рыба туго выскользнула, шлепнулась в воду и поплыла. «Живучая!» — тоскливо подумала Таня.

Сын еще спал. Она села к телефону, набрала номер подруги.

— Мы как раз о тебе говорим, мамаша ты наша! — обрадовалась Марина. — Сынок не болеет? Замечательно! Скоро ли с коллективом сольешься? Работники нужны. Впрочем, не торопись. Воспитывай, как положено. Главное, закаляй.

Тане расхотелось откровенничать. «Они там думают, что у меня райская жизнь. На службу не хожу. Сижу дома, пряники трескаю». Нет, подруга ее не поймет. Осудит скорее. Конечно, Сережа такой положительный. Не пьет, не бьет, зарплату несет... Чего еще нужно для счастья, спрашивается?

Глухо затрещал телефон.

— Это я, — сказал муж. — Как Петя? Спит? Нормально? Я задержусь.

— Хорошо, Ладно.

Таня положила трубку, закусила губу. «Опять задержится. Опять я сижу как дура одна».

Словно что-то почуввав, проснулся сын, закричал, заворочался. Таня втащила его в комнату, стала разворачивать. «Петрушечка мой! Мальчишечка моя, Петюша!»

Малыш, как водится, промок и взопрел в теплых обертках. Но круглые щеки его были румяны, глаза веселы.

«Вот какой у меня сын. Что же я кисну? Сейчас мы штанишки поменяем. Сейчас мы пням-ням чайку попьем», — приговаривала Таня, хлопоча над маленьким.

...Петя сидел в манеже и перебирал игрушки. Таня листала записную книжку. «Маша Скворцова — не надо. Ал. Петров — обратно не надо. Вот он, Ребровский. Так... что мы ему говорим? Ага, говорим, что давно

не были в ихнем театре и те де». Таня задумалась.

Ребровский одно время часто позванивал, приглашал в компании. Таню отпугивала его лихость. Но теперь другое дело. Она взрослая женщина. Ей нечего бояться.

Телефон Ребровского не отвечал. Таня облегченно вздохнула. К новой мысли надо было привыкнуть. И она стала привыкать. Ей представился бар Дома актеров. Она в шифоновом платье за столиком перед высоким стаканом с багровым коктейлем. Ребровский ослеплен. Какая же я скотина, говорит он, что упустил тебя. Таня снисходительно загадочно улыбается... Что дальше? Они едут к Ребровскому. Да, они едут к нему. И — все. Тут Таня вспомнила острый кадык Ребровского, который он обычно прикрывает пестрым шейным платком, и ее передернуло: ну его, пожалуй! Кого же тогда? Не Шурыгина же, этого выпивошку хилого. «Думай, девушка, думай».

Таня мысленно перебирала имена, лица. Все было не то. Два-три уцелевших от женьгибы сокурсника... Однако такое с бухты-барухты не происходит. Нужна какая-то подготовка. Да и скучно. У них на курсе все какие-то мелкие были, неяркие. Правда, у Марины знакомых полно. Да как ей объяснишь? Еще Сергею доложит. Как верная подруга. Нет, от подруг подальше. Самой нужно все обеспечивать. Для начала хотя бы выбраться из дома. Не в магазин, не в прачечную, не на рынок. В театр, скажем. Или хотя бы в кино. Вот! Ведь если красиво одеться, обязательно кто-нибудь увидит, оценит. Решено.

Когда? Кто будет с Петькой, Катерина Андреевна? Таня тоскливо представила язвительную, хитрую свою свекровь, которая не упустит случая, чтобы не напомнить, скольким она жертвует ради благополучия сына и его семьи. Чем она таким особенным жертвует, навещая своего собственного внука раз в месяц, Таня не знала. Но решила вынести все. «Пусть он знает, что я не такая уж инкудышная, что я могу нравиться, что я не только в домохозяйки гожусь. Вот Петя подрастет, пойду работать. Среди людей буду. И пусть тогда пожалеет, что никто ему блинчиков не подает. Придет домой, а меня нет. А я на профсоюзном собрании. Пусть посидит вечером один».

Таня глянула на сына и всплеснула руками: Петя выкладывал кашу из тарелки на стол и пришлепывал сверху ложкой.

«Господи, боже ж ты мой!» Таня причитала и нервно вытирала за сыном. «Пусть приходит Катерина Андреевна, бог с ней. Только бы отвлечься от всего этого».

На часах уже половина первого ночи, когда у входной двери звякнули ключом. Таня быстро погасила ночник.

Сергей шумно раздевался, гремел дверцей шкафа. Вошел, спросил в темноте: «Спишь?» Таня уловила запах вина, табака, сжала зубы и промолчала.

Он пошел на кухню, загремел чайником. Горячие слезы потекли у нее по щекам и впитались в подушку. «Завтра позвоню Ребровскому». С этой мыслью она долго засыпала и быстро проснулась. Петя вытолкался из мокрых одеял и лежал поперек кровати.

— Ты даешь, парень! Так и простудиться можно. — Тапя принялась за дела...

Войдя в ванную и щурясь спросонья на свет, она вдруг в страхе отпрянула: в луже ушедшей сквозь пробку воды на дне белоснежной ванны лежала темная рыбина и шлепала хвостом. «Купила на свою голову, — пожалела Таня. — Теперь разделявай ее». Она принесла кухонный нож, ухватила скользкое чешуйчатое тело и с хрустом отсекла голову. Рыба выскользнула, забилась в собственной крови. Тане стало жутко, и она заплакала. «К черту такую жизнь. К чертям собачьим картофельные оладьи! Домашние пельмени! Пропади все! — она беззвучно кричала. — Все платья устарели. Новых нет. Пойти не в чем и некуда. Свекровь в печенку лезет. — Таня выключила воду и стала смывать ванну. — А он... совершенно не считается со мной. Я вяну, а он цветет. У него разнообразная жизнь. А у меня?»

Она долго скребла рыбу. Толстые чешуйки отстреливали и шлепались на кафель. Таня сердито подбирала их, оттирая пятна.

«Ушью креп-жоржетовое платье и позвоню Ребровскому. Я тоже человек».

Заспавшись по случаю субботы, муж, наконец, поднялся. Неторопливо побрился, напевая что-то легкое, и появился в кухне, наполненной запахом жареной рыбы и чадом пригоревшего масла.

— Эх, покушаем, — сказал он, потирая руки. — А ты чего такая хмурая? Что случилось?

— Я палец порезала, — Таня показала обвязанный бинтом палец с пятнышком крови.

— Бедняжечка! Сильно болит? — Муж обнял жену, взял ее руку и поцеловал возле пореза. — Достается тебе. Вон какие руки шершавые от воды.

Тане вдруг сделалось так жалко себя, что она, не выдержав, всхлинула и зарыдала почти в голос. Муж слегка оторопел, но стал гладить ее по голове, спине, как ребеночка.

— Знаешь, ты не мой посуду. Это буду делать я. И постирать, пожалуй, кое-что я смогу сам.

Таня, утирая слезы, усмехнулась про себя: «Да уж ты постираешь!» Вспомнив, как муж берет влажные пеленки двумя пальцами, даже улыбнулась...

Рыба оказалась превкусной. Сергей старательно отделил от костей пахучий кусочек и с чайной ложечки предложил сыну. Петя охотно съел, стукнул ладошкой по тарелке, требуя еще.

— Ешь, богатырь, — ласково поощрял отец. — В рыбе большая сила.

За чаем Сергей размечтался. «В июне испытываем новую модель. Возьму вас с собой на базу. А что? Там хорошо: лес, канал и все такое. Позагораем, воздухом подышим. Благодать...»

Таня обратила внимание, что у сына и отца совершенно одинаковый цвет волос, хотя в остальном их сходство мало заметно.

Надо в химчистку сходить и в молочный — машинально прикидывала она. Потом подумала о своей затее и обрадовалась: «Хорошо, что ни до кого не дозвонилась. Вот была бы картина, представляю». Она виновато гля-

пула на мужнин затылок, вздохнула и повязала синий с белыми кружевцами передник, подарок свекрови на Восьмое марта.

Незабудка

Оглушенный вчерашним застольем, Геннадий спал тяжело, со сновидениями. Обрывки поздравительных тостов, неестественно крупные красные лица чередовались долго, шумно, пока, наконец, один общий гул (или гром) не оборвал смутную картину. Геннадий открыл глаза. Он лежал в одноместном «люксе» по здешним нормам фешенебельной гостиницы «Дружба». Рижская мебель светлого дерева, ковровая дорожка, телевизор, эстамп на стене. За окном тарахтел грузовик, разгружали ящики, звенела пустая стеклянная посуда.

Геннадий встал, вынул из холодильника бутылку минеральной воды, открыл и приложился к горлышку. Его жена терпеть не могла такие повадки и всячески их искореняла. Еще ей не нравилось, как он шаркает тапочками, что употребляет просторечия в беседах с приятелями. «Ты же культурный человек!» — упрекала она его, одергивая при случае. Впрочем, сейчас жены не было рядом. Вчера на банкете он впервые за много месяцев «расслабился»: говорил, слегка заплетаясь, «кажись» вместо «кажется», совершенно игнорировал нож, держа отбивную котлету, зажаренную в сухарях, прямо рукой. Вчера он был герой. Его хвалили, сулили пер-

спективы... Конечно, он герой. Его установка дала блестящие результаты. Три года он ждал триумфа, лелеял счастливый миг. И вот — свершилось. Кто бы мог подумать, такой молодой — и уже своя установка.

Геннадий сладко поежился, поискал в пиджаке, висящем на стуле, сигареты и закурил. «Эх, как бы сейчас вознегодовала Алечка! — думал он. — Курить натошак — безрассудство!» Однако, негодуя на его слабость, она тем не менее не торопилась обеспечить ему нормальное питание по утрам.

Завтрак он готовил сам. На двоих. Пока Алена тренировала брюшной пресс, то есть сгибалась и разгибалась под гром рок-н-ролла. Я твоя голубка, говорила жена, впархивая на кухню в чем-то голубом, размашистом и полупрозрачном. «Яишницу каждый день вредно», — заявляла она, требовала тонкий, изящный бутерброд и успевала, выпив чашку кофе, что-нибудь задеть, смахнуть со стола широким рукавом. Она долго одевалась, примеривалась, повторяя с удовольствием: «Мы хороши, милы, очаровательны!»

Он уже заводил машину, прогревал ее как следует, когда жена, наконец, появлялась в дверях подъезда, бросалась на сиденье рядом в своих пушистых мехах и торопила: «Что же мы стоим? Я совсем опаздываю!»

Дверь без стука отворилась, в номер вошла уборщица с веником и тряпкой. Геннадий стоял в одном белье. Ее это, по-видимому, не смутило.

— Убирать будем, — заявила женщина. — Уже полдевятого.

«Провинция!» — отметил про себя Генпа-

дий и стал натягивать брюки. Он вспомнил недавний апартамент в отеле одного чистенького благополучного европейского городка, симпатичную горничную в малиновом фартучке, ее любезное «пардон, пардон» и ответил женщине:

— Доброе утро! Я сейчас уйду. Пожалуйста, уберите.

Он спустился в буфет, взял тарелку творога, стакан ряженки и, подумав, полстакана сметаны. В этом городе замечательные молочные продукты, это он понял еще тогда, три года назад. Ему вполне хватало командировочных денег. Он был серьезен, не пил, курил дешевые сигареты. Но уже тогда был великолепен в новом легком меховом пальто с клеймом «Рида» на подкладке. И, главное, он был автором проекта, который собрались осуществить на местном комбинате.

«Я молодежь люблю, — говорил ему начальник цеха. — Она сейчас умная, трезвая. Не то что мы в свое время. Конечно, не дураки, понимаете, но... романтики, энтузиасты больше. Теперь на энтузиазме не проедешь. Теперь — холодный расчет. Наука! Уважаю...»

Директор тоже встретил его радушно. Но в глазах его Геннадий как бы угадал вопрос: «Кто твой покровитель?»

Геннадий постарался забыть, чей он зять. Это к делу не относилось. Установку он вынес на собственном хребте. Его голова плюс деловитость Павлуши, Павла Антоновича Краюхи, его правой руки, плюс неутомимое товарищество их скромной лаборатории — вот фундамент успеха. Что касается тестя, то их общение носило настолько условно-семейный

характер, что никаким покровительством тут не веяло. Общались они только на даче раз в неделю. Пока Алена с тещей обсуждали эффективные методы массажа и составы питательных масок для лица, мужчины, молодой конструктор и немолодой, но бодрый начальник пили на веранде чешское пиво. Первый как правило молчал. Второй долго и красноречиво объяснял нечто об общественном устройстве. Геннадия эти беседы мало интересовали. Но он чувствовал себя должником. Двухкомнатная квартира, финская мебель, кремовая «Лада» украшали его жизнь, но и напоминали, что всеми этими радостями он обязан состоятельным родителям жены.

Алена, любимая дочь, не знала отказа ни в чем. Самолюбие подстегивало Геннадия, он твердо шел к независимости. Хотя бы моральной. Теперь — все. Он больше не щенок. Автор установки. Звучит!

После творога и холодной ряженки стало совсем хорошо. Геннадий глянул на часы: Павлуша небось еще спит, если его тоже не подняла с постели фея порядка. «Может, пройтись» — подумал он. И тут вспомнил, как вчера, пребывая в смутном хмелю, собирался найти одну улицу, один дом...

Тянул Павла за рукав, тащил к дверям, предлагая идти на поиски вместе. Но тот отвечал: «Не надо, Гена, пора спать. Все уже ушли. И гостиницу после двенадцати запирают на ключ. Не веришь? Спорим?»

Дежурная попросила их не шуметь. Тогда Павлуша стал высыпать ей на стол шоколадные конфеты из карманов.

Вчера он определенно решил разыскать...

как же ее все-таки звали? Маша? Вера? Какое-то милое мягкое имя. Совсем простое, свое. «Забыл! Забыл, дурень!» Потому что не собирался запоминать. Совершенно не собирался. Но прошло три года, он опять в этом городе, и зачем-то думает о ней.

...Тогда, давным-давно, накануне их свадьбы с Аленой он приехал сюда показать товар лицом. Правда, на бумаге, в макете. Но товар! На комбинате обнадежили: внедрим! Установим. Смонтируем. Конечно, это повлечет за собой определенные издержки. Что поделаешь! Они готовы. Интересы индустрии выше личного покоя.

У него оставались целый вечер и ночь до отъезда. На сбереженную тридцатку он решил купить Алене подарок. Конечно, не густо. Но она же понимает, что выходит замуж не за Креза. Счастливый, веселый он выскочил из гостиницы нараспашку: магазин сувениров «Шкатулка» находился почти рядом.

В сумерках, при свете нехитрых реклам улица смотрелась нарядно. Сновал народ. Блестели витрины. Подойдя к магазину, он так лихо дернул на себя дверь, что выходящая навстречу девушка ойкнула и уронила что-то крупное в целлофановой обертке.

Это была ваза. Девушка глядела с таким испугом, с такой тоской, что не отреагировать было бы свинством. Геннадий вытащил тридцатку: «Купите другую». — «Такой больше нет, — ответила девушка. — Это единственная». Прохожие оборачивались, сочувственно качали головами. «Тогда купите что-нибудь другое», — предложил Геннадий. «Здесь ни одна вещь ее не достойна. Была только эта

ваза...» — «Понимаю», — сказал Геннадий, хотя дурацкая история уже вызвала в нем легкое раздражение. «Что вы можете понимать!» — воскликнула девушка, отвернулась и пошла прочь. Короткое, еще девчоночье пальто, сутулая спина... Геннадий побрел следом. «Ну извините меня, я же не специально». — «Конечно, — скучно протянула она. — Ничего, приду пустая». — «Хотите я отправлюсь с вами, скажу вашей подруге, что разбил эту уникальную вещь и обязуюсь восполнить?» Он даже попытался встать на колени. На него вдруг «нашло». Когда он посреди улицы выбил чечетку, приглашая себя взамен утраченной вазы, она вдруг хорошо и просто улыбнулась.

Подруга вышла в сером платье с огромным количеством кораллов на шее, в ушах и запястьях. Оценила Геннадия с первого взгляда и пресекла всяческие извинения: «Разбилась — значит, на счастье». — «Верно, — подумал Геннадий. — Ведь я женюсь». Правда, женился он, а ваза была чужая.

Гости с тарелками на коленях сидели, слонялись со стаканами в руках и чувствовали себя вольно. Геннадий заметил, что его знакомую быстро приветили какие-то тощие молодцы в узких штанах. Без пальто, в приглушенном свете разноцветных абажуров и плафонов она казалась вполне пригожей. Наколола вилкой кружок колбасы и аккуратно пощипывает по окружности. Зубки мелкие, ротик алый — отметил Геннадий. Хозяйка дома развеселилась, велела откупорить шампанское в свою честь. Геннадий, будучи студентом, наловчился вскрывать коварные «фугасы» во

время скромных праздников по случаю получения «степухи». Он не упустил случая, блеснул умением. Звучный залп напугал девушек, но не пролилось ни капли. Потом хозяйка объявила «бешеные танцы». Геннадий оценил попытку юношества следовать европейскому стилю и пригласил свою знакомую на медленное танго. Она положила ему руку на плечо, другая в его ладони оказалась так холодна, что он помял ее и потер для живости. Тело ее оказалось маленькое, податливое, легкое. Увлечшись, он прижал его к себе и задохнулся в ее светленьких волосах. «Молоком пахнет»,— подумалось ему.

— Вы не устали друг от друга? — подозрительно спросила хозяйка бала и оттеснила девушку к другому кавалеру, заняв ее место.

Серое платье хозяйки оказалось нежно-шелковистым, но сквозь него прощупывалась изрядная упитанность. «Молоком не пахнет»,— лукаво отметил Геннадий. Ему было хорошо. Хотя по кислым взглядам молодцов он понял, что его здесь не одобряют. Как-то само вышло, что Геннадий оказался в соседней комнате. «Я здесь работаю»,— объяснила хозяйка и испытующе посмотрела на гостя. Все три стены были завешаны картинами. Натюрморты со стеклянным графином и яблоками, цветы и... один портрет. Что-то знакомое. Ну да, конечно, портрет девушки с незабудками в тощем кулачке. Похоже... «Я в живописи... знаете,— начал было Геннадий и не нашелся дальше.— Мне нравится. Помоему, вот это очень похоже».

— Еще бы! — заметила хозяйка.

Наверное, ее много хвалят, решил Геннадий и предложил хозяйке сигарету.

— Я не жалею, что разбил эту штуку,— сказал он.— Зато познакомился с настоящей художницей.

— Да, это событие! — то ли подтвердила, то ли усмехнулась хозяйка.

Она уже взялась за ручку двери, когда ее окликнули:

— Убегаешь?

— В одиннадцать сорок последний автобус,— оправдалась она.

— Геннадий, что же вы? — спохватилась художница.— Проводите ее до дома!

Он понял, что ночевать ему тут не придется. На мгновение, как слабый укор, мелькнул облик Алены. «Я цел, моя хорошая. Я только твой и больше ничей»,— мысленно заверил невесту Геннадий и торжественно простился с приятным домом. Он был почти трезв.

«Вам до гостиницы три минуты ходьбы. Ступайте, Я сама доберусь»,— сказала девушка на улице. «Жалкая она какая-то»,— решил Геннадий, но убедил себя доставить ее до места. Автобус ждать пришлось долго. Девушка начала притоптывать, постукивать ногой об ногу. Геннадий, не долго думая, обхватил ее руками и прижал к себе.

На голове у нее был пушистый белый платок в дырочках. Пушинки щекотали ему подбородок. «Прижухла, пташечка»,— заметил про себя Геннадий, и ему захотелось ласки.

...Когда он впервые поцеловался с Аленой, его поразил чувственный натиск невесты, он

заподозрил неладное. Но потом оказалось, что этот шквал нарастал слишком давно, чтобы наконец обрушиться на него, единственного...

Так обычно стоят влюбленные — обнявшись посреди спящего города. Геннадий дул на цыплячий пух платка. Девушка встрепенулась: невидимый за углом автобус зашумел. «Теперь я доеду сама», — сказала она. Но он подхватил ее и вошел вместе с нею в салон. Водитель сэкономил энергию или решил сделать им приятное, притушив освещение.

— У вас дома строгие родители, — предположил Геннадий.

— Нет, не строгие. Хорошие, — ответила она.

Ему представилась маленькая квартирка с обоями под ситчик. Старые допотопные часы в деревянном ящике, на полу самодельные дорожки из цветных тряпочек. В общем, нечто провинциальное, спокойное, тихое. И эта девушка в пуховом платке у окна с геранью ждет своего суженого...

Дом был двухэтажный и, кажется, оштукатуренный снаружи. Светилось только одно окно. «Бабушка вяжет», — объяснила она. И правда: сквозь шторку просматривалась склоненная голова. На подоконнике горшки с цветами. Геннадий порадовался своей прозорливости.

Она чего-то ждала.

«Не идти же с бабушкой чай пить», — подумал Геннадий. Она протянула руку и сказала: «Спасибо, что проводили». Варезка тоже была пушистой. «Бабушкина работа», — догадался он. Геннадий сдернул варезку — ладонь ее горела. Она погладила ему щеку

и сказала: «Колочая!» Тут он вспыхнул. Притянул к себе пискнувшее послушное существо и вжал в себя. Что-то давно забытое сладкой негой перехватило ему дыхание. Она не умела целоваться. Сухие горячие губы ее шевелились, будто что-то шепча...

— Идем ко мне,— сказал он.

Она молча покачала головой.

— Почему?

— Я вам не нужна.

— Ты мне нужна!

— Я так не могу.

— Как ты можешь? — задыхаясь, спросил он.

— Вы уедете и больше не вернетесь. Я так не могу...

...Он лежал у себя в номере и представлял, как она разматывает свой платок и он дышит ей в губы. Картина была так отчетлива, что он досадливо кряхтел и успокаивался только тем, что завтра увидит Алену...

Где ж эта улица, где ж этот дом, размышлял Геннадий, озираясь по сторонам. Вот конечная остановка. Вот круг, где они тогда вдвоем вышли из автобуса. Двухэтажного домика как не бывало. На его месте высилась недостроенная панельная башня, обнесенная временным глухим забором. «За три года — такое изменение!» — «Вы чего-нибудь ищите?» — поинтересовалась прохожая женщина. «Нет-нет, спасибо. Любуюсь новостройкой». Геннадий отвернулся и спросил сам себя: «Какого рожна вам тут нужно, молодой чело-

век? Билет на самолет в кармане, ну и летите на здоровье, голубчик! Вас жена ждет».

Алена первым делом пожаловалась, как трудно было без машины. Стала строить планы на выходной день, хотя и так ясно, что они поедут на родительскую дачу. И Геннадий обиженно отметил, что установка и его авторство, его победа не произвели на жену большого впечатления. Она только как-то на ходу чмокнула его и сказала:

— Моя ты умница!

«Почему не умник?» — подумал он, но смолчал.

— Это тебе, — Геннадий положил перед женой сверток.

Алена ловко развернула и вытащила ажурный платок из белого пуха.

— Славненький, — кисло протянула она и тут же положила подарок в шкаф. — На даче сгодится зимой. Сойду за колхозницу.

— Тебе не нравится? — спросил он.

Алена, что-то сообразив, вытащила платок назад и накинула на плечи.

Он подошел, погладил, но не притянул к себе, не прижал. Сказал:

— Ты у меня роскошная женщина.

Как же ее звали, спрашивал он себя. Такое простое имя. Тихое. Впрочем, какая разница: «Я так не могу. Вы не вернетесь...» И кожа у нее пахла молоком.

Якши

В помещении Никитинских бань пахло картофельным супом: дежурная, дородная женщина еще крепких лет хлопотала в подсобном помещении над электроплиткой. Работа работой, а желудок требует внимания.

Была середина дня. Вследствие чего в женском разряде наблюдался контингент из неторопливых пенсионерок и откровенных любительниц русского пара. Среди последних были заядлые. Огневистые, орлиного натиска. С этими не спорь. Уважай их знание и повадки. А повадки были таковы, что новичков бросало в трепет: жар царил в парной — не вздохнуть. Обжигал легкие, не говоря о теле. Не привычные к горячему воздуху, слабые организмом «непосвященные» тихо роптали но смирялись. покидали парную, не усидев в ней минуты. Зато «бывалые» блаженствовали: уткнувшись в веники лицом, наливались густой краснотой, кряхтели и постанывали от удовольствия. Потом по команде лидера начинали дружно охлестывать себя душистыми вениками. Через пять минут парная пустела и заполнялась бледными одиночками, пугливо стерегущими, как бы кто снова не начал плескать из таза на раскаленные камни.

Нина с Тamarой пришли в самый разгар, когда стихийно сколоченная группа «посвященных» диктовала режим.

Подруги раздевались.

Нина пришла сюда впервые и с удивлением отмечала потолок во влажных потеках, затоптанные половики, обшарпанные диваны и даже — о боже, господи! — плоского бурого

таракана в дверной щели. Она ежилась и, стесняясь, поворачивалась к соседям боком.

Подруга же была весело возбуждена. Лукаво подмигивала: не робей! Будешь довольна.

В парной они высидели три минуты. И, когда женщины принялись махать вениками, нагнетая и без того горячий воздух и брызгаться, тяжело выбрались в предбанник.

— Сердце заходится, — заворачиваясь в простыню и валясь на лавку, пожаловалась Нина.

— С непривычки! — невозмутимая Тамара довольно жмурилась. От ее красной спины поднимался пар. — Сейчас отдохнём, опять пойдем.

— Может, хватит? — слабо попросила Нина.

— Ты что? Впервые выбралась и нате! Нет уж. Получишь полный комплекс, поняла? Выйдешь отсюда, как огурчик молодой. Я из тебя все беды-хвори выживу. Долой женскую тоску! Долой кислятину душевную. Что, опять о своем Сашеньке задумалась? Тоже мне, предмет для мучений. Выкинь из головы. Князь какой нашелся. Он еще смеет раздумывать, жениться ли ему на первой красавице или оставить для грешных надобностей про запас.

— Не шуми, Тамара, — испугалась Нина.

— Не бойся, никто нас не слушает. Здесь все женщины. Поймут.

— Я не хочу, чтобы вся баня знала о моих проблемах.

— Если уж на то пошло, у всех баб одна проблема — замужество.

— Я не баба.

— Хорошо. Ты девушка в возрасте. Это дела не меняет.

— Знаешь, Том, когда мы с тобой разговариваем, мне все так ясно. Я верю в себя. А как тебя нет, ну просто тяжесть какая-то.

— Правильно. Потому что я добра тебе хочу. А твой Сашенька обыкновенный эгоист. Думаешь, у него действительно есть причина резину тянуть? Бред! Просто хомут надевать не хочет. Ведь семейная жизнь это что? Обязанности. Забота. Внимание к другому. А они этому не обучены. Им воля нужна.

Из подсобки вышла дежурная, нежно икнула и приняла билеты у вновь прибывших.

— Я эту ванную не переносу,— сообщила соседям маленькая старушка с красным добрым лицом.— Ни влезть, ни повернуться, ой ты! Никакого удовольствия. А здесь— пришел, попарился, омылся.

— Небось в деревне привыкли к баньке,— подхватила одна из слушательниц.

— Так мы не деревенские. Здесь раньше рабочий поселок был. Да. А теперь город. Раньше все в бане мылись.

— И не хворали. Народ крепче был.

— Ага, крепче. Этим гриппом не болели, как теперь.

...— Он говорит, на что ты мне старуха, да. У меня молодая есть,— по другую сторону дивана с высокой спинкой шел свой разговор.— Ей только пятьдесят два года.

— А этому хрену сколько?

— Ему, кажись, семьдесят четыре.

— Да ну?

— Вот и ну! Бес в ребро. Так старуха ему: ступай, родимый. Не нужен ты мне в таком разе. Пусть молодая тебе портки стирает.

— То-то верно.

Подруги невольно вслушались.

Дежурная прошла мимо с чайником и двумя стаканами:

— Пейте на здоровье.

— Вот это кстати,— обрадовались женщины, которые и составляли группу «бывалых». Среди них выделялась средней упитанности дама в малиновом халате с лицом, обмазанным медом. Лидер.

— Тоже мне, многодетная! — рассуждала одна из «бывалых». — Трех родила! Нас у матери шестеро было, да еще двое померли. Всех на ноги поставила. Не ждала, когда подсобят, сама ворочала.

— Теперь другие критерии,— решила высказаться соседка.

— Ага, другие. Подавай им радости жизни, а об детях святой дух позаботится.

Тамара посмотрела на подругу: у той в лице была тоска. И она скомандовала:

— Пошли греться!

В парной никого не было, и Тамара приступила вновь:

— Неправильно ты ведешь себя, вот что я думаю. Не так надо себя с ними держать. Вот мой Федя...

— Таких, как твой Федя, один на миллион,— перебила ее Нина.

— Да ничего подобного! Такой, как все. А то и похуже. Белоручка. Ленивый, как боже ж ты мой.

— А кто у тебя на рынок ходит? Кто посуду, полы моет, не Федя твой? — возразила Нина.

— Так я ж его воспитала. А ты что думала — мне ангел готовый достался? Сколько я об него душу царапала, сколько нервов на него истратила, ого!

— У тебя дар педагогический, — заключила Нина.

— Может, и дар. А только я не стала терпеть его характер. Прошлась мокрым веником по кудрям и объяснила, что если ему нужна жена, а не лошадь ломовая, пусть похрустит суставами ради общего счастья.

Дверь в парную открылась, вошла женщина в шерстяной шапочке. Взглянув на полки, поинтересовалась:

— Пар якши?

Подруги переглянулись.

— Есть пар, или добавить? — повторила она и, не дожидаясь ответа, открыла печь. В горячей глубине белели раскаленные камни. — Совсем нет пар. Сейчас будет, — пообещала она и обернула к сидящим смуглое лицо: — Зачем сидите? Идите туда, сейчас пар делаем.

Подруги нехотя вышли.

— Я тебе давно собираюсь сказать, — продолжала Тамара. — Нужно переменить выражение лица. Глядя на тебя, становится ясно: несчастная. А таких избегают. Чужие невзгоды тоже обуза, кому охота ее принимать! Лицо должно быть приятное, улыбочное. Скалиться не надо, а то прослынешь дурой. Но легкая полуулыбка не помешает. Тебе тем более. Вон какие у тебя зубки ровные.

— Улыбаться хорошо, когда повод есть,— протянула Нина.

— Повод найти не трудно, была бы охота. Поводов тьма. Новое платье — пожалуйста. Хорошая погода — тоже радость. Зарплата — сама понимаешь, еще какой повод.

— Ты у меня первая и единственная подруга...

— Кстати, с кем ты общаешься кроме меня и моих приятелей? У тебя есть еще знакомые, ну, кроме нашего цеха? Боюсь, не густо. Напрасно. У тебя должно быть много знакомых. Ты молодая, энергичная, не глупая. Вот тебе задание: познакомься с мужчиной.

— С каким?

— С каким угодно. Попробуй. Причешись, туфли надень хорошие и пройдишь просто так по нашему проспекту. Ради интереса.

— Да я уже прохаживалась... ради интереса,— призналась Нина.

— Ну и что?

— Ничего. Никто на меня не смотрит. Мужчина один двадцать копеек попросил в долг.

— Понятно. Ты была при скучном лице. Теперь надо иначе. Пройдишь как на празднике. Пусть все видят, какая хорошая женщина идет.

— И что потом?

— Ты причешись и туфли новые надень, потом узнаешь. Мне расскажешь.

— А как же Саша?

— Что Саша? Ничего с ним не сделается. Заведи себе дружка. Саша узнает, может,

спохватится. Не спохватится, значит, не твоего поля ягода. Ты думай, милая, жизнь идет, твоя молодая единственная жизнь, а ты киснешь.

Они встали под душ. Нина отпрянула от ледяной струи, потянулась к крану, прибавила горячей воды, но стоять не было сил: в глазах темнело. Тамара, сообразив, выволокла подругу в раздевалку и уложила на лавку.

— Нюхни-ка,— дежурная поднесла ватку с нашатырем.

— Наподдавались! — осуждающе произнесла мощная рыхлая женщина с бесцветным лицом.— Это ж надо такую душиловку устроить! — она обращалась к «бывалым». — Не все же выносливые.

— На то парная, чтобы париться. Не можешь, не входи,— холодно парировал малиновый халат.

— Том, я уже в кондиции,— тихо произнесла Нина.— Закруглимся?

— Хорошо. Ты полежи немного, я еще разок схожу и — привет.

На улице их обдал легкий прохладный ветер. Хотелось пить. Они с вожделием взглянули на вывеску «Русский квас», перемигнулись и ринулись к двери. «Чтобы я залпом целую кружку, сроду такого не бывало», — думала Нина. Еще она подумала, что румянец ее красит. Потом она вспомнила смешное слово «якши», одобрительно хмыкнула и пообещала: «Ну, Сашенька, погоди. Еще посмотрим, кто чего стоит».

Зараза

Ее «первый» — бывший однокурсник, зашел на огонек поговорить «за жизнь», отвести душу, пожаловаться: девушка, отвечавшая его идеалу, оказалась строгих правил и допускала «всякие чувства» только после свадьбы.

У Риты давно хоронилась бутылка «чего-то ненашего» с экзотической наклейкой, крепостью 38 градусов. После двух рюмок выражение обиды на лице однокурсника сменилось благодушием.

— Красиво у тебя, чисто, — сказал он, оглядывая комнату.

На фоне переливчатых, мягкого тона оконных занавесок Рита смотрелась уютно, тепло, доступно...

Когда-то в этой квартире жили тесно: отец, мать, она и младший брат. Отец давно умер. Брат женился. Мать уехала к нему нянчить внука. На дочь в сердцах махнула рукой — непутевая! Слишком долго «блюли девку», следили, как бы чего не вышло, отец встречал по вечерам на автобусной остановке. В турлагерь захотела поехать, запретили. «Знаем эти пансионаты!» В 22 года у нее еще не было ухажера. Родители стали намекать, мол, пора предложения руки и сердца принимать. Но предложений не поступало. Когда дочери исполнилось 25, мать (уже без отца) была готова на все. «Пусть хоть в по доле несет. Что ж, мне так и не увидеть внуков?» Но тут вернулся из армии брат, и семейные заботы переключились на него.

Третья рюмка затуманила очи, окатила зноем.

«Вот оно как!..» — недоумевала Рита. Однокурсник, сообразив, наконец, что это с нею случилось впервые, заметался и впал в истерику. Она успокаивала его, прикуривала ему сигарету, несла воды из-под крана. Потом он заснул, и она ушла на кухню, чтобы не слышать страшного храпа и не видеть увеличенного сумерками чужого, запрокинутого на ее подушке лица...

Ее «второй» обещал жениться, как только разойдется со своей «ведьмой». Однажды он повел Риту в ресторан. Расплачиваясь, Лев Семенович долго изучал поданный официантом счет, долго сопел, кряхтел, и, наконец, спросил:

— У тебя не найдется трех рублей?

«Ведьма» либо не собиралась отпускать Льва Семеновича, либо ставила слишком жесткие условия.

Мать отрывалась от внука по воскресеньям, находила в квартире то одну, то другую перемену, но не возражала. У дочери появились новые туфли, модное платье. «Сама зарабатывает, сама одевается», — думала мать, неодобрительно поглядывая на смелый фасон. Но как-то дочь не удержалась, упала на диван и зарыдала с тяжелым неожиданным воем: «Что же, мне их насильно в загс тащить? Не нужна я никому. Чихали они, девушка ты или нет. Невест вокруг тыщи. И я не лучше всех».

«Кто же тебе сказал, что не лучше? Смотри, какая ладненькая, стройная, глазки голубые, — мать гладила ее, как маленькую, от

затылка по спине.— Хочешь, поезжай на юг, на Черное море. Там тепло, розы цветут. Отдохнешь, пальмы посмотришь. Я тебе денег добавлю. А?

Рита поехала на море. Это было чудо.

Она, правда, обгорела на солнце. Но хозяйка, сдававшая койку, посоветовала мазаться одеколоном, и все быстро прошло.

На работе заахали: ах, какой знойный загар! Тебе к лицу. Эдик, с которым она познакомилась у билетной кассы кинотеатра «Экспресс», тоже оценил ее шоколадность. И ей было показалось.... Нет, она не задумалась о замужестве. Но вдруг ощутила себя красивой. Это было ужасно приятно. Она перестала сутилиться, в лице ее проступила загадка.

Лев Семенович, опоздав к главному почтамту на двадцать пять минут, подарил ей багряный георгин и впервые поцеловал руку. Когда он наклонился, у него на макушке оказалась лысинка. Рита не удержалась и щелкнула его в это место. Лев Семенович ойкнул, но стойко перенес удар.

Эдик жениться не обещал, но водил ее на кинопросмотры, в мастерскую якобы очень известного скульптора, где в гостях был один писатель и одна женщина-искусствовед. Эта женщина поразила Риту огромными — бирюза в серебре — серьгами и изысканно-вольной манерой обхождения с мужчинами. Длина ее платья, покрой рукавов отмечены были с наименьшей пристальностью. «Вот какую нужно быть», — поняла Рита. На юг она стала ездить ежегодно.

— Не возражаете, если я погашу свет? — в голосе соседки по комнате слышалось неодобрение.

В приморский дом отдыха Рита приехала «набирать кондицию». Первые дни почти ни с кем не общалась, уходила на дальний пляж и усердно темнела в своем алом, очень смелом купальнике.

Соседка, Нина Гавриловна, боялась обгореть и устраивалась чаще в тени. Наконец, они нашли общую тему и стали исподволь выяснять друг о друге: откуда, кем работает и прочее.

— Муж умолял меня далеко не заплывать, — сообщала Нина Гавриловна.

«Ага, значит, ты замужня, — отмечала про себя Рита. — Ну естественно, столько золотых цацек не каждая себе позволит».

— В прошлом году у нас соседнюю дачу обокрали, представляете? — продолжала Нина Гавриловна.

«Представляю», — усмехнулась про себя Рита.

«Мой Коля», «Мы с Коленькой» — и так далее. Рите это стало надоедать.

— А у меня муж негр, — произнесла она между прочим. — Он сейчас гостит у родственников.

Рита увидела, как у собеседницы округлились, застыли в ужасе глаза.

— Трое детишек от него. Все мулатики, — невозмутимо продолжала Рита. — Такие прелестные! Я их в интернат сдала. Хороший, ведомственный. Знаете, так трудно. В моральном смысле. Все спрашивают: как, почему

дети черненькие? Всем не объяснишь, правда же?

Нина Гавриловна собралась посочувствовать, но тут их, лежащих рядом — головы в тени — окликнул мужчина:

— Скучаете, девушки?

Он был в черных брюках и зеленой майке. Босиком. Темная волосатость на плечах и груди выдавала в нем аборигена.

— Ресторан пойдем. Сациви кушать... Музыка слушать, э? — Мужчина хотел быть неотразимым.

Нина Гавриловна поднялась, принимая бойцовскую позу.

— Идите, товарищ, — спокойно проговорила Рита. — Не мешайте культурно отдыхать.

— Вах! От всей души предлагаю. Дружить будем. Зачем не хочешь? — не сдавался мужчина. Гордый человек был уязвлен тем, что от него лениво отмахиваются такие гладкие, бесстыдно оголенные женщины: приехали, лежат и не реагируют на него.

В это время из моря вышел стройный широкоплечий атлет, направился в сторону Риты и Нины Гавриловны. Его яркая спортивная сумка лежала, оказывается, возле их лежаков. (Поворачиваясь, женщины невольно скользили по ней глазами, пытаясь разобрать латинский шрифт.) Атлет наклонился, выхватил из сумки сухие плавки, но заметил неладное и вступился:

— Это мои девушки, кацо. Ты понял?

«Кацо» окинул его бронзовое бодрое тело, на котором весело поблескивали водяные капли, и улыбнулся:

— Обе? Или только одна?

— Обе. Иди, дорогой, не серди меня.

— Вах! — пожал плечами тот и нехотя с достоинством отошел.

— Вы рыцарь! — сказала Нина Гавриловна.

— Последний из могижан, — добавила Рита. В ней проснулся интерес.

Втроем они просидели под тентом до ужина. Атлета звали Вадим. Нина Гавриловна, представляясь, назвала себя просто Ниной. «Химия — наука потрясающая, — говорил Вадим. — А вы, Ниночка, удивительная!»

Нина Гавриловна быстро освоилась в атмосфере глубоких истин, научного слога, мимолетного кокетства. Вторя Вадиму, она только раз споткнулась о «мой Коленька», затихла на секунду и уже больше не повторялась. Коленька остался в скучной городской монотонной жизни, в семейно-дачных передрягах, в холодных глазах свекрови. Раскрепостившись, она вдруг рассказала анекдот «из французской жизни». Рита на нее удивленно взглянула и хохотнула для поддержки. Вадим заметил, что сегодня, кажется, можно справлять десятилетний юбилей этого анекдота. «Но я верю, Ниночка, вы нам расскажете его еще раз, и мы будем опять и опять над ним смеяться». Нина Гавриловна хотела обидеться но передумала: присутствие Вадима было важнее амбиций.

Вечером пошли в кино. Сидели втроем на последнем ряду. Вадим невзначай касался то одной, то другой женщины. То, шутливо щурясь, принюхивался к духам Риты, то нежно проводил широкой ладонью по спине

Нины Гавриловны, у той мгновенно прилипал к телу воздушный кредешин.

После фильма Нина Гавриловна тоном заговорщика сообщила, что у нее кое-что есть и можно его попробовать. Втроем поднялись в комнату женщины, расселись на скрипучих ивовых креслицах за маленьким столиком. Нина Гавриловна, как хозяйка, захлопотала. Вымыла вишню, разрежала пахучий свежий огурец, на каждую дольку положила кусочек плавленого сыру. Веточка укропа венчала композицию. А потом появился сюрприз — греческий коньяк «Метакса». Нина Гавриловна чуть было не сообщила, что его привез Коленька из командировки, но вовремя проглотила фразу — зачем об этом?

— ...Навязывать свое мнение кому-либо бессмысленно, — говорил Вадим, одобрительно поглядывая на столик. — Вы хотите убедить меня, что наше время вскормило нежных лентяев и трусов? Очевидно, Рита, у вас есть основания сердиться на людей. Но зачем такие обобщения?

— Затем, что героев нет. Есть обыватели. Толпа, удовлетворяющая свои растущие потребности. — Рита звонко хрустнула огурцом.

— От потребностей человек живет, — улыбнулся Вадим.

— Товарищи, — прервала их Нина Гавриловна. — Давайте говорить о веселом. Ей-богу, посмотрели комедию, а спорите как на диспуте.

— Логично! — отметил Вадим и легко свернул блестящую пробку.

Вадим просидел у них не больше двух ча-

сов. Нина Гавриловна вышла проводить его до угла. Рита услышала с улицы ее неестественно-веселый смех: балконная дверь никогда не запиралась. Рита уже легла, когда Нина Гавриловна вошла, расточая смешанный запах дезодоранта и огуречного мыла.

— Коля очень добрый,— говорила она, раздеваясь.— Но он забывает обо мне постоянно. Я для него неодушевленный предмет вроде мебели. Живем шесть лет и ни разу не были вместе на море.— В голосе Нины Гавриловны звучало раздражение. Она тяжело села на кровать и внезапно добавила:— У него есть женщина. Он с нею ездит на море.

Рита повернулась к соседке:

— Вы об этом знаете?

— Догадываюсь.

— И ничего не предпринимаете?

— Что же я могу? У нас Петенька, сын. Я из-за них институт забросила. Что я теперь могу одна?

— Жить с обманщиком противно.

— С негром лучше, что ли?— кольнула соседка. И испуганно сжалась.

— Не знаю. Не пробовала. Я тогда пошутила. У меня нет мужа.

— Серьезно?— обрадовалась Нина Гавриловна.— А я-то поверила, пожалела вас.

— Пожалеть меня есть за что.

На белых простынях тело Риты выглядело почти черным.

— У нас, баб, тяжелая участь,— вздохнула Нина Гавриловна.

— Я не баба.

«А кто же ты есть? — подумала про себя соседка. — Девушка, что ли? Так я и поверила».

Дня через два к пирсу подошел морской катер. «Желающие совершить прогулку в Бухту Радости» шумно заполнили палубу. Нина Гавриловна не выносила морской качки и, с досадой скрывая обиду за нежной улыбкой, помахала соломенной шляпой Рите и Вадиму, стоящим на корме.

Она скучно лежала под тентом и думала о себе, о своей несчастной заброшенной судьбе. Сын сейчас находится в надежных руках требовательной свекрови. Коленька наверняка ведет без нее неправильную жизнь: курит в спальне, ходит с друзьями в пивной бар и (кто его знает!), может быть, навещает какую-нибудь «свободную» особу. А она, Нина Гавриловна, тут ничего не может себе позволить. Это справедливо? «Вадим такой душевный, внимательный. Ну поцелует в плечико, подумаешь, важность! Ведь я женщина...»

— Я этот фильм видел, а ты?

Вадим с Ритой перешли «на ты», отметила Нина Гавриловна и поникла. В ней зародилось подозрение. «Между ними наверняка что-то произошло», — подумала она. Рита пришла на пляж какая-то томная, неразговорчивая.

— Хорошо было в Бухте Радости? — поинтересовалась Нина Гавриловна и цепко взгляделась в соседку.

— Прекрасно! — протянула Рита, небрежно сбрасывая халат. На губах ее играла легкая улыбка.

Эта улыбка и то, как Рита входила в воду, как разбрызгала волну, как вскинула руки и упала на воду с закрытыми глазами — красноречиво подтвердили подозрения Нины Гавриловны. Она погасла. Она нахмурилась и замкнулась. Она гордо отделилась «от них» и в кино пошла одна.

Рита, словно ничего не замечая, продолжала ходить прямо, независимо смеялась шуткам Вадима, заплывала с ним черт-те куда, отправлялась в какие-то пешие экскурсии (с ним же) и спала безмятежным сном.

— Вас можно поздравить, — не удержалась как-то Нина Гавриловна. — Вы смотрите с Вадимом как супружеская пара.

— Смотреться он будет в Костроме со своей женой.

— Как?! — взметнулась Нина Гавриловна. — Он женат?

— А вы не знали?

— Боже мой, как же так?

— Не волнуйтесь, дорогая, семью я разобью, — успокоила Рита. — Если захочу. Скорее всего, не захочу. Потому что Вадим мне не слишком нравится. Хитер. Смазлив — и все. Нет, нам такие не нужны.

— Какие же вам нужны?

— Нам нужны хорошие.

Нина Гавриловна пожала плечами.

Накануне отъезда она уже собрала чемодан, осталась в дорожном платье, просиживая последние часы на полупустом пляже. «Хорошо, что я не такая. Мне не стыдно смот-

реть людям в глаза,— думала она.— Оценит ли это Николай?»

Рита и Вадим летели домой одним рейсом. В аэропорту Вадим нацарапал на клочке газеты свой домашний телефон и, подавая Рите, предупредил: «Я дома один с пятнадцати до семнадцати. В выходные звонить нельзя. Ну, ты понимаешь?» — он, как бы извиняясь, пожал плечами.

Ставя чемодан Риты на весы, Вадим заметил сбоку надпись. Чемодан перевернули, чтобы прочесть. По желтой коже рукою Нины Гавриловны было крупно выведено черным карандашом для бровей: «зараза».

Рита закинула голову, отбросив назад выгоревшие локоны, и громко захохотала. На ее отдохнувшем темном лице горели белые зубы.

Общая тетрадь

— Старовойтов! Пожалуйста — «Иранская сказочная энциклопедия», «Русские ночи» Одоевского, Иоганн Готфрид Гердер...

— Спасибо.

— Фолкнер — вам?

— Да. Крепков моя фамилия. Благодарю.

Мила то и дело поглядывала на стенные часы, медленно отмечала: время идет. Идет? Ну и что? Куда ей торопиться? Некуда. От этого «некуда» делалось пусто внутри, без-

различно и холодно. Пока выдавала книги, копалась в картотеке, забывала. Но становилось тихо, притворялись бесшумные двери читального зала, оглушительно треснув, передвигалась стрелка на стенных часах — и Мила вздрагивала, вспоминала опять. Привычная подкатывала к горлу горечь.

...Маму увезли весной. Звонок из больницы раздался утром. Как всегда, на его приглушенное тарактенье Мила вскакивала молниеносно, отбросив одеяло, в три шага подбегала, хватала трубку так быстро, что больше одного гудка он не успевал издавать.

— Милочка, это я, Клавдия Семеновна!

И Мила сразу поняла: операция. Ей стало страшно, но она попыталась не выдать тревоги. В дверях, взъерошенный, жалкий в застиранной пижаме, в комнатных туфлях на босу ногу, стоял папа. «Ноги у него худые», — отчего-то подумала Мила. Ее как будто накрыло воздушной горячей волной. Папа взял трубку, уже понимая, что звонок оттуда, но машинально, каким-то отвлеченным голосом, откашлявшись, быстро проговорил:

— Здравствуйте, Клавдия Семеновна. Да... Понятно... Будем надеяться. Спасибо вам. — Положил трубку, сел и весь сгорбился.

Больница, в которой мама работала двадцать три года, в которой лежала теперь сама и мучилась, была старая. Трехэтажное здание розовело в глубине сквера. За сквером начинался лес. В марте асфальт обнажался, между луж просыхали его чистые куски. Снег по краям дорожек оседал, чернел. А с вершин качающихся сосен в промежутках ослепитель-

ного голубого неба слетали, кружились и каркали стаи ворон.

Каждый вечер после работы Мила торопилась по аллее к больнице, готовя себя к мучительному свиданию. Открывая дверь палаты, старалась войти бесшумно, но всякий раз наталкивалась на мамин выжидающий взгляд. Казалось, больная со вчерашнего дня лежит в одной позе и ждет ее, и считает минуты. Иной раз Мила отказывалась от стояния в очереди за какой-нибудь вкусной едой, чтобы порадовать больную, разбудить в ней аппетит. Лишь бы не прийти на сколько-нибудь позже. Иначе — слезы, горечь, объяснения. И без того хватало разговоров, бесконечных жалоб, вымаливаний сочувствия. Доходило до истерик. «Я никому не нужна больше. Я для всех обуза. Моя жизнь кончена. Господи, сколько я вынесла! Мужа тащила. Дочь тащила. Теперь все на ногах... Не до меня теперь!» Слушая мать, Мила думала: «Ну зачем, зачем это?» Что-то каменело у нее внутри. Она привыкла к маминым слезам. Они уже не жалобили, но сердили ее.

На улице Мила приходила в себя. По-весеннему теплый ветер сушил глаза. В темноте позднего вечера никто не видел ее красного напухшего лица. К дому она шла пешком, чтобы «обрести форму».

Отец часто работал допоздна, в две смены. Приближалась сдача жилого дома. То есть, дом уже официально сдали, но была куча недоделок, и нервное начальство торопило, проверяло, подталкивало. В прорабской не умолкал телефон. Нужно было срочно вывозить времянки, раздевалки, подсобные са-

раи с территории двора. Нужно было прихорашивать участок. Строительный мусор, поломанные стремянки, провода, вмерзшие в снег, раздражали начальника ЖЭКа, уже принявшего ключи от всех квартир, и он ежедневно звонил Сергею Петровичу, напоминая о нопорядке.

Будущие жильцы, лавируя между кучами строительного мусора, не боясь угодить в банки из-под масляной краски, стайками блуждали по лабиринту первого этажа, в котором разместится ателье женского легкого платья, отыскивали прораба и умоляли показать им квартиры. Кто-то хотел измерить высоту окна для приобретения гардин, другой беспокоился о состоянии паркета. «Знаем вас, строителей! Положите кое-как со щелями, да криво!» Третьему нужно было «взглянуть вообще», чтобы решить — соглашаться на эту площадь или ждать лучшего варианта.

Сергей Петрович отсылал жильцов к начальнику ЖЭКа: «У него все ключи. Я не имею права ничего открывать». — «Ну мы вас очень просим! Ну как вы нас не понимаете?» И тогда он раздражался, выпроваживал всех из помещения, запирали прорабскую и шел к плотникам еще раз проверить, как движется дело, проконтролировать, чтобы не халтурили и деревянные панели пришивали ровно, культурно.

Однажды, придя от мамы, Мила застала отца. Он сидел в кухне, ел со сковородки неразогретые котлеты. На столе рядом лежала развернутая «Вечерка» и шерстяной шарф. «Разболтался, — подумала дочь, — отбился от рук, неухоженный какой-то». Закипел чайник.

Отец схватил голой рукой, отдернул и виновато посмотрел на дочь. Потом спросил: «Заварить чай или старый попьем?» Они шутили: старый чай больше трех раз не разбавляем.

А мама там — среди холодной больничной белизны. Соседи сочувственно оборачиваются вслед. Надо спешить туда после работы, сидеть у больничной постели, пересказывать содержание наспех прочитанных книг, с трепетом ожидая новых жалоб. Жалеть до спазм в горле — ее и себя, не зная, как помочь, как остановить лавину отчаяния.

Эта внезапно два года назад располневшая женщина с желтым лицом, с синими пятнами под глазами, беспомощная, почти неподвижная, когда-то была веселым и безудержным инициатором сногшибательных затей. Вдруг объявляла, что нынче на юг они не едут, а будут отдыхать «дикарями» в Калининской области на озере Шлено. Папа пожимал плечами, говоря, что о таком озере не слышал. Но мама ставила табуретку, лезла на антресоли за картами и отыскивала действительно: оз. Шлено. Все соглашались, потому что привыкли соглашаться. Папа свыкался с тем, что в этом году ему не придется орошать свою трофическую язву на левой ноге благотворной мацестой. Однажды, когда Мила училась в средней школе, семейный насущный бюджет иссяк, что случалось довольно часто перед зарплатой. Мама пошарила по шкафам, извлекла пакет манки, бабочку зеленого горошка, початый батон белого хлеба, вздохнула, улыбнулась и объявила: «Граждане! Идем смотреть новый художественный фильм «Полоса-

тый рейс». Цветной». Открыв ладошь, на которой лежала, печально зеленая, последняя трешка, звонко накрыла ее другой рукой, Фильм оказался очень смешной, и все были довольны.

Мама не была красавицей. Но иногда сильно хорошела. Как часто они сидели втроем на кухне (вот на этой осиротевшей поблекшей кухне) за тесным столом с дымящейся картошкой, с бифштексами из «Кулинарии», с сочной квашеной капустой, которую мама сама готовила. Мама розовела, вспоминала детство, войну. Но больше детство, где у нее была бабушка, рыжий братишка, украинское село, огород и корова Машка.

Папа тоже становился веселым, говорливым. Лицо его краснело, и он влюбленно глядел на маму, слушая ее почти с благоговением. Он был старше жены на двенадцать лет.

«Почему бы тебе не записать свои воспоминания? — предлагал папа. — Ты так интересно рассказываешь. Зримо». — «Что ты, разве я писатель! — отмахивалась мама. — Да и когда мне, вечером после работы?»

Но она нашла время.

Как-то Мила встала ночью и увидела на кухне свет. Мама сидела за столом и писала. Она обернулась на шаги и сообщила:

— Вот мемуары сочиняю.

— Ух ты! — Мила заглянула через мамино плечо. — Здорово. Почитаем.

— Да еще только пять страничек...

— Лиха беда начало, — заверила дочь.

— А знаешь, легко получается, потому что есть что сказать.

Мила подумала: «Ей идет быть писателем».

Свет от настольной лампы падал на общую тетрадь и так освещал ее лицо, что оно казалось одухотворенным и далеким.

Эту тетрадь Мила недавно перечитала. Ни одной помарки. Ровные красивые строчки, язык чистый, речь открытая...

«...На передовой затишья редки. Но в нынешнем бою мы так потрепали фрица и так измотались сами, что в ранних сумерках даже одиночных выстрелов было не слышно. И противник, и мы отдыхали, считали раненых. Ах, сколько их было! Я едва на ногах держалась от усталости, оказывая первую помощь...

В сумерках меня вызвали в командирский блиндаж, требовалось перевязать связного. Иду я мимо глубокого рва и слышу чей-то стон оттуда. Эх, думаю, наш боец стонет. Не нашли его днем санитары, лежит, мучается. А ров глубокий был. Но я не долго колебалась: подошла к краю и почти кубарем скатилась вниз. Был у меня фонарик с собой. Посветила. Вижу, лежит раненый фриц, окровавленной рукой показывает себе на лоб и что-то мычит. Я медик. Не солдат. Перевязала его — как положено. Дело привычное. Теперь, думаю, лежи тут, я свой долг исполнила. Поглядела наверх — мама родная! Как же выбраться отсюда? Стена у рва совершенно отвесная. Я давай кое-как карабкаться. И вдруг что-то меня насторожило. Оборачиваюсь, а этот гад целится мне в спину из автомата. Я и не заметила, что оружие у него

рядом лежало. Сам еле шевелится, рука пёребита, а туда же! Зло меня тогда взяло. Я тебя, фрица поганого, может, от смерти спасла, а ты, значит, так? Был у меня браунинг трофейный, Егор подарил. Я его из кармана выхватила. Подыхай, говорю, сволочь, раз ты так! И застрелила его. Это был мой единственный убитый немец. До сих пор при воспоминании о нем горло перехватывает — то ли гадко, то ли совестно. Все же он раненый был.

...Не помню уже, как я тогда выкарабкалась: наверное, не хотелось умереть в этой ловушке рядом с врагом. А главное, спешила в санбат к Егору. Сказали, что ранен он легко. Но я не верила. Ребята меня не хотели пугать...

Милый Егорушка, если бы я знала, что утром распрощаюсь с тобой навсегда! Тебя увезли с другими тяжелыми. Если бы я сама перевязывала тебя, я бы поняла, что ты безнадежен.

Но, узнав это, где бы я тогда взяла силы еще три года видеть смерть и спасать от смерти?.. Тебя накрыли плащ-палаткой до подбородка и повезли от меня на телеге. Бледное неживое лицо. Сухие губы, которые так ничего и не успели мне сказать.

Наверное, я потому и дожила до Победы, что после тебя уже не боялась смерти...»

— Что же ты совсем пропала? Не звонишь, не зовешь, — Виктор снисходительно улыбался.

— О тебе тоже не слышно было, — в тон

ему ответила Мила и пожалела себя за старое платье, в котором она еще прошлым летом ходила с ним в кафе «Лира». Туфли были на низком каблуке. «Не туфли, а шлепанцы какие-то». Голову она помыла четыре дня тому назад. От прически ни следа, одно воспоминание. «Ну и ладно! — Мила встряхнула головой. — Переживем».

— Ты неважно выглядишь. Как мама?

— Мама в больнице. Ей сделали операцию.

— Извини, я не знал. Ну как она?

— Ничего. Обошлось. Поправляется по-маленьку.

— Как отец?

— Держится стойко. Переживает, конечно.

— Пойдем куда-нибудь посидим, — предложил Виктор и знакомо, сочувственно обнял ее за плечи. — Что ж делать, малыш. От болезней никто не застрахован.

«Все так же банален», — подумала о нем Мила. И опять не поняла, хорошо ей или нет, что рядом с ней такой приятный, красивый молодой человек. Наверное, вон та яркая девушка с развевающимися волосами, с модной сумкой через плечо с удовольствием заняла бы ее место. Недаром, идя навстречу, она еще издали вперилась в Виктора, словно не замечая, что он не один.

...Три весны тому назад он шумно вошел в библиотеку, показал удостоверение АПН и попросил годовую подшивку толстого журнала. Потом, облокотясь на барьер, глядел в упор на Милу и «клеил» ее со всем усер-

дием. «Девушка, если вы не будете мне улыбаться, я пожалуюсь администрации! Я заболела, когда мне не идут навстречу. Вы жестокая. Как вас зовут?»

В тот вечер они в кафе «Север» ели мороженое: шар величиной с яблоко плавал в шоколаде и, словно обратная сторона луны, бугрился сладкими орешками. Тогда же они и целовались в сквере напротив ее дома.

Тогда же ей начали рисоваться картины будущего замужества. Виктор был хорош. Он был прекрасен. Спокоен. Мил. Только иногда замечал ей: «Пора укоротить юбочку, малыш. Вся Европа ходит в мини. Косы можно расплести. Стричь не обязательно».

И она стала закалывать на работе пучок, а вечером, идя к нему, вынимала шпильки, и волосы вольно рассыпались по плечам.

Увидев первое укороченное платье, мама всплеснула руками, но быстро смирилась. И однажды сама пришла из ателье в новом платье, которое было гораздо короче ее прежних одежек. А папа заметил: «Ниночка, да у тебя стройные ноги!»

С Виктором Мила сблизилась очень скоро.

Его родители были где-то в Колумбии или Анголе (Мила толком и не поняла). Недалеко от города пустовала дача. Они однажды сошли с электрички, пересекли небольшой лесок и уткнулись в дощатые ворота. «Айн момент!» — Виктор где-то нажал, калитка открылась, и к затененному старыми березами дому они прошли по едва заметной заросшей тропинке. В доме было затхло, темно от закрытых ставней. Зато веранда сияла солнцем.

Одинокая муха уныло толкалась в стекло и настойчиво жужжала.

Миле стало тоскливо. Она думала, что так и должно быть. Но когда он обнял ее и руки его сделались властными, а дыхание нетерпеливым, она содрогнулась: «Неужели нужно так грубо?» Она плакала. Он не замечал или делал вид. Потом как ни в чем не бывало потрепал ее за ухо: «Ты чудо, малыш».

В другой раз были у него дома, где-то в центре города. Его мама в переливчатом ярком халате до пят любезно кивнула ей на «Здравствуйте, меня зовут Мила», вежливо оглядела ее в полутемной прихожей и удалилась вглубь коридора со множеством дверей.

Пока они сидели запершись в его комнате, ее голос раза два отвечал на телефонные звонки и вдалеке умолкал.

Через час они вышли из квартиры. Его мама не появлялась больше. И тогда Миле стало стыдно: «Не удостоили чашкой чая! Отреагировали, как на пустой звук. Приходящая девушка...» И она поняла, что так не должно быть. Виктор — это не он. Не тот, которого она мыслила себе. Не тот — сильный, мужественный, открытый, с которым было бы надежно и спокойно. С Виктором она оставалась беззащитной, неуверенной в себе, была в постоянном напряжении: «Так ли я хороша, чтобы он ценил меня и боялся потерять?»

У себя в библиотеке она ходила в самых сереньких. Не умела красить волосы в ослепительно-медные цвета, что считалось очень модно. Покрыв ногти розовым лаком, спешила скорее стереть его, потому что не выноси-

ла ощущения чего-то липкого, постороннего на руках. Высокие каблуки утомляли ее, болели ноги. Фасоны ее платьев были простенькие: воротничок под шейку, рукав на пуговичке. Наверное, она была ограниченным человеком, ее формировали книги, в которых должно отдавалось «духовной красоте», «внутренней сути». Ей не приходило в голову, что доброму содержанию часто необходима добрая оболочка. Однажды в школе на новогоднем маскараде она появилась в белом марлевом платье. Ей казалось, что таким должно быть условно одеяние королевы. Никто ею не восхитился. Все девочки ахали вокруг другой королевы, марлевого платье которой было обильно расшито блестками и в свете разноцветных лампочек таинственно переливалось.

Нет, Виктор был не он. Как он осматривал ее, сравнивая с голой женщиной на цветной рекламе, говоря: «Талия у тебя не развита. Линия тела требует выразительности. Покрути хула-хуп, малыш!»

Она крутила до одурения, обрезала юбки все выше и выше, чуть было не начала курить, но боялась маминого гнева, которая и без того поглядывала на нее с беспокойством, нет-нет и заводила разговор о том, что пора замуж и что все серьезные девушки в ее годы успешно решают эту проблему. «Неужели у тебя нет никого на примете? Ты же такая симпатичная воспитанная девушка. Вот Юрик, например, чем не жених?»

Юрик старше Милы на два года. По воскресеньям еще школьниками они ходили на каток. Он бегал быстро. Опережал ее на два круга, покрасневшись, подлетал, резко тор-

мозил и преданно заглядывал в глаза: «Устала?»»

Он не нравился ей. Совершенно...

— Так куда мы пойдём? — переспросил Виктор.

Ей и хотелось пойти с ним, и обида брала свое: столько времени она бьется в одиночку над больной мамой (от папы никакой помощи, одни стоны и бестолковые переговоры с врачами, не умеющими толком объяснить, что с мамой), так ей горько от всего, а он не появился ни разу. Появлялся Юрик. Бегал на рынок за парниковой зеленью для больной, сам стряпал какие-то удивительные кушанья из сушеных грибов, сметаны, в обмотанной махровыми полотенцами кастрюльке нес в больницу, чтобы маму раздражил запах домашней кухни, чтобы она отъела хоть две ложки.

А Виктора не было. Он пребывал в своем мире, где свободу и независимость личности подчеркивали небрежные широкие жесты, элегантный костюм, звонкие чаевые в кафе, аромат иностранных сигарет...

— У меня сегодня деловое свидание, — ответила Мила.

— Жаль. Если не секрет, с кем?

— С тетей Верой.

— О, тогда мое сердце спокойно. — Внезапно придвинув ее к себе, он тихо спросил: — Ты больше ни с кем, малыш?

Она запнулась: «Что он обо мне думает!»

— Тебя это сильно заботит? — спросила она.

- Разумеется.
 - Спи спокойно.
 - Можно позвонить тебе сегодня?
- Она ответила:
- Сегодня я вернусь поздно.
 - Хорошо, завтра.

Очаровательная прекрасная Вера Анатольевна явилась в мерцающем свете стеклянных дверей как в аквариуме. В платье из бледно-лилового шифона с воздушными складками, в белых кружевных перчатках и в белой ажурной шляпке. Обняла, овеяла запахом тонких духов:

— Милочка, деточка! Сто лет я тебя не видела. Как мама, отец? Хорошо, что пришла. Посидим, поговорим, полюбуемся. Там у нас столик заказан, и кавалер сидит. Ты его не бойся. Он старый волк, но добрый. Снимает художественные фильмы. Собаку съел на этом деле. Да ты его знаешь. Помнишь этот фильм, как его название? Забыла. Про циркачку-наездницу. Ну, не важно! Он хотел тогда, чтобы я у него снималась, представляешь! А мне пятый десяток пошел, ха-ха! Ну идем. Ты ему тетрадку отдашь, пусть посмотрит, что из этого можно сделать.

Швейцар учтиво распахнул двери ресторана, почтительно поклонился Вере Анатольевне (заслуженная артистка, красавица, хоть и в годах уже, в театр на нее не пробьешься). Ее здесь знали. Она шла великолепная между столиками, немного всем улыбаясь. В глубине зала возле окна поднялся мужчина неопреде-

ленных лет в черном кожаном пиджаке и сером глухом свитере.

— Ты не успел соскучиться без нас? — Вера Анатольевна погладила Милу по спине. — Это Людмила.

— Очень рад.

Он взял протянутую Милой руку и поцеловал.

Ей стало неловко и смешно одновременно: такой внушительный мужчина обращается с ней как с дамой.

— Бог мой, Сеня, как ты развернулся! Разве мы все это будем есть? — Вера Анатольевна всплеснула руками. — Я, понимаешь, ущемляю себя, диету соблюдаю, а ты меня так соблазняешь. Просто жестоко.

— Веруня, дорогая, отщипни помаленьку от всего, и бог с ним, пусть остается. Кроме того, ты такая изящная, что можешь позволить себе нормальный ужин.

— Ты полагаешь?

Официант кружил возле их столика, вовремя убирал тарелки, быстро заменяя упавшую на пол вилку, держа ее как перышко двумя пальцами.

В зале становилось шумно. Или это шумело в голове от вина? Мила смотрела на двух людей, сидящих рядом: в них чувствовалась уверенность и достоинство. Им эта обстановка привычна, они в своей тарелке. Мила слушала их разговор:

— Для кино это не важно. Кино должно быть свободно от текста, как в музыке, например, симфония — от слов.

— Ты хочешь немое кино? — Вера Анатольевна «играла». У нее была такая

лукавая манера — улыбаться, говоря о серьезном.

— Не исключено. Но не на уровне, я имею в виду техническом, тридцатых годов. Нет, конечно. Я чувствую себя идиотом, когда с экрана на меня сыплется эта говорильня, пустомельство, азбучные истины. В кино нужно смотреть, а не слушать (разве что хорошую музыку). Ты пробовала убирать в телевизоре звук во время фильма? Сколько раз! Насколько самая пустяшная лента интереснее, а? Потому что не слышишь кондового текста.

— Сеня, мне понятно, почему ты десять лет ничего не снимаешь. Потому что сценарии состоят из слов.

— Потому что слова очень редко выражают мысли.

— Ты слишком строг. Я недавно смотрела прекрасный фильм. Забыла его название... Там были слова. Они меня волновали.

— Наверное, там был еще и режиссер, и оператор, и художник, если тебе это понравилось. Впрочем, сколько можно об этом! Людмиле с нами скучно.

— Нет, совсем наоборот. Мне интересно.

— Извините, Людмила, вы работаете? Где, если не секрет? — спросил Сеня.

— Я библиотечкарь. Выдаю книги.

— Замечательно! Завидую тем, кто имеет постоянный свободный доступ к литературе. Вы, наверное, все время что-нибудь читаете и в курсе всех новинок.

— Да, я читаю много. Мне с детства на день рождения мама с отцом дарили исключительно книги.

— Я Нину вечно предупреждала: «Смотри, чтобы девочка не испортила глаза»,— вставила Вера Анатольевна.— Как ни приду к ним, сидит эдакое чадушко над книжкой, не отлепишь, на улицу не вытолкаешь.

— Вы стихов не сочиняете? — вдруг спросил Сеня.— У вас тихий голос, взгляд такой... поверх всего. Похоже на поэта.

— Нет, я не умею,— Мила, как бы извиняясь, пожала плечами.— Стихи я люблю. Очень. Но не знаю, как это строчки складываются. Это загадка.

— Жаль... Очень похоже,— протянул Сеня.

— Пощади ее, голубчик,— вступилась Вера Анатольевна.— Она нежное, не сильное существо. Мила мне как дочь. Мои оболтусы (одного ты взялся опекать в кино, другой только что — увы! — развелся с прелестной женщиной), мои оболтусы не похожи на нее...

Стукнул барабан, звякнула электрогитара: на маленькую эстраду вошли музыканты. Небольшого роста, средних лет румяный бородач в серебристом пиджаке с острыми плечами мягким голосом, почти шепотом, касаясь губами микрофона, сообщил, что его группа рада опять весь вечер играть «для милых гостей и завсегдатаев». Зал радушно оживился. И когда ансамбль грянул что-то отчаянное, заразительное, опустела половина столиков.

«Вот как нынче танцуют. Вот какие чулки носят»,— отмечала про себя Мила. Ей захотелось в эту веселую нарядную толпу. Она бы тоже смеялась. Медленная, тягучая мелодия сменила буйный суматошный пляс. Как в тумане кто-то подошел, поклонился старшим,

протянул руку Миле, она поднялась и увидела — Виктор! Они пошли танцевать.

— Это твоя тетя Вера? А он дядя Сеня? — щекоча ей ухо, спросил Виктор. — Ах ты молчунья! Молодец!

«О чем он? Я ему нравлюсь? У него мягкие руки».

Вера Анатольевна рассказывала Сене:

— Нина моя фронтовая подруга. После ранения прибилась к нашей актерской стае. Выступала с нами перед бойцами. У нее был чудный голос — звонкий, чистый. Я была уверена, что она станет певицей. Ей было тогда восемнадцать лет... Ты прочти эту тетрадь. Я не специалист, но мне кажется, это хорошо. Местами я плакала. Как вспомню войну, этот кошмар — даже не верится, что это было с нами, что мы это пережили.

За окнами по центральной улице плыли сияющие автомобили, в сумерках загорались высокие фонари дневного освещения, мимо сияющих витрин шли люди, разговаривали, смеялись, молодежь терпеливо пристраивалась к очереди в кафе-мороженое.

— Уйдем вместе? — шепнул Виктор, отводя Милу на место.

Мила не успела ответить, но, садясь, втянула голову в плечи.

— Я вижу, он твой знакомый, — сказала Вера Анатольевна. — Приятный молодой человек. Не давай ему сильно перья распускать. Прости меня, старую, что лезу с советами. Но у него вид слишком уверенного в себе человека. Хорошо, если за этим что-то есть. Он кто?

— Журналист. Международник.

— А-а, ну дай ему бог! Он тебя, кажется, ждет. Вон там,— Вера Анатольевна указала глазами на дверь.

Небольшая компания молодых людей, среди которых была одна девушка, выходила из зала. Виктор пропустил их и смотрел в сторону Милы.

— Я пойду, Вера Анатольевна,— сказала Мила, неловко поднимаясь.— Спасибо, что вы меня не забываете. Я расскажу маме, какая вы сегодня красивая. До свидания,— протянула она руку Сене, и он опять поцеловал ее. Потом, будто вспомнив, сказал:

— Позвоните мне как-нибудь, я вам устрою экскурсию на киностудию.

— Ты ей позвони, когда прочтешь тетрадь,— вставила Вера Анатольевна. И добавила Миле: — Папе поклонись. Смотри, чтобы он не хандрил... Я навещу Ниночку в пятницу. Нет... скорее всего, во вторник.

На улице Виктор целовал девушку из их компании. Мила замерла у выхода.

— Одиннадцать! Двенадцать! Тринадцать! — хором подсчитывали приятели.

На пятнадцатый раз девушка расхохоталась и вытащила из сумочки пачку «Кента»:

— Сигарета моя!

— Ты ее честно заработала, девочка,— Виктор повернулся.— А вот и Мила! Иди к нам, малыш! Это Мила, прошу, сэры, руками не трогать. Милочка, вот эти все люди — отпетые шелкоперы, проныры и стреляные воробы. Они съели мой гонорар и ухмыляются. Знаешь, чего им надо? Чтобы я взял их к себе домой. О, ненасытные!

Один из компании, низенький, с мощной курчавой шевелюрой, сигналил пробегающим мимо такси. Наконец остановился «уазик», и они затолкались в него: «Привет, шеф! Тут недалеко! Закуришь?»

...Здесь она уже была. Воспоминание кольнуло. Но уходить было глупо. Виктор смотрел на нее ласково, и ей казалось, что сейчас все по-другому. В квартире их встретил мрак и тишина. Никого не было. «Ну и слава богу»,— подумала Мила.

Все сидели кому как удобно: в креслах, на диване. Виктор сел у ног Милы на ковер.

— Витек, товарищи обижаются, тебе Мила важнее нас,— пропел Радик, атлетического сложения парень в брюках из очень светлого, в тонкий рубчик вельвета.— Мы тоже хотим с Милой поразговаривать.

— О чем это? — спросил Виктор.

— О переселении народов, черт побери!

— Не ругайся. Это неприлично. Слушай музыку. Обрати благосклонное внимание на Жанну.

— Обойдусь! — отмахнулась девушка.

— Поесть бы маленько,— пожелал низенький.

— Ну и троглодит! Стрескал три татарских шницеля и еще чего-то требует! — деланно возмутился Виктор.

— Хочу колбасы,— заявила Жанна.

— Пойдем со мною на кухню, я тебе что-то покажу,— заговорщицки предложил Радик.

Кто-то включил магнитофон. Пел Адамо.

В кухне раздался радостный вопль. Виктор поднялся:

— Пойду распоряжусь, чтобы не больно чистили холодильник.— И, наклонившись над Милой: — Они скоро уйдут, подожди.

Где-то в дальней комнате мелодично ударили часы. Поздно. Поздно возвращаться домой. «Папе не позвонила! — подумала Мила, но успокоила себя: — Он давно уже спит». Уткнулась в теплый затылок Виктора и тихо сказала:

— Женись на мне, мужчина.

Не поворачиваясь, он пошевелился и, по-медлив, ответил глухо:

— Не исключено, малыш. Но... сыро еще. Сыро.

Она не поняла, при чем тут «сыро», но не стала выяснять. Ей сделалось холодно. «Балда окаянная! Очень ты ему нужна! Он таких табунами ловит. Сегодня с тобой, завтра с другой», — отчитывала себя Мила. Сказав «женись на мне», она преодолела такой тяжелый барьер, так стыдно было вдруг раскрыться в своей наивности, беспомощности, что после этой, наконец выведенной фразы она внутренне обмякла.

«Бедная мама! Пусть она никогда не узнает, как дочь ее стала женщиной, перестала упиваться романами о светлой любви, постарела».

...В больницу Мила нередко приходила вместе с Юриком: «Пусть ей будет спокойно». При Юрике мама не нервничала, держала себя в руках, даже улыбалась. Вместе молодые люди выходили из больницы. Но шли в разные стороны. «Не провожай меня, ладно?» —

просила девушка. И он, виновато улыбаясь, смотрел ей вслед.

Мила бесшумно поднялась, на ощупь собрала одежду, вышла на кухню одеваться.

— Ты куда? — спросил Виктор, очнувшись.

— Я... так.

Щелкнул замок, входная дверь за Милой закрылась. Она нажала кнопку лифта — и двери оглушительно раздвинулись.

«Нет, с этими бабами озвереть можно! — думал Виктор. — Нервные какие пошли. Женись на мне! Только и всего? Разбежался! Да была бы хоть Мэрилин Монро, я бы еще подумал... Телка, ей-богу! Хрен с тобой!» — И он повернулся лицом к стене.

Отец не спал всю ночь. Это Мила поняла, когда, выйдя из такси в пять часов утра, взбежала на третий этаж, на цыпочках прошла к своей комнате и вдруг заметила на кухне свет. Сердце ее тяжело билось. От утренней свежести знобило.

— Ты где была? — спросил отец.

«Ну вот, начинается.. Мне уже третий десяток, а я должна отчитываться». Но она знала, что виновата. «Не могла позвонить!» Отец сидел на табурете сутулый, похудевший, ладони лежат на коленях лодочкой, такой жалкий и заброшенный, что Мила, сама не ожидая, заплакала. Недавние обиды встали перед ней со всей ясностью. И самая большая та, что рядом нет мамы. Вот сидит одинокий отец, чего-то испугался, моргает глазами растерянно и не знает, что делать. Мама

была его опорой и руководителем. Без нее он слаб.

— Зачем ты! Что ты! Я же за тебя волнуясь,— дернулся к ней отец.— Я же не знаю, где ты. Может, под машину попала,— он гладил ее, прижимал к себе, вытирал со щек слезы шершавой ладонью.— Я тебе не надсмотрщик. Но если что случится, а меня нет рядом, кто защитит?

— Ну вот видишь, я жива-здорова, что же волноваться?

— Ты бы позвонила.

— Я хотела, но из автоматов знаешь как трудно. Прости...

— Юрик тебе звонил,— сообщил отец.

— И что?

— Хотел тебя в какой-то театр пригласить. Но тебя не было.

— Ничего, еще позвонит.

Они сели за стол.

— Знаешь, Мила, ты умная взрослая девушка, я не хочу встревать в твою жизнь со всякими советами. Но если тебе тяжело, не чурайся меня, расскажи. Я ведь тебя люблю. Конечно, будь ты мужчина, у нас получился бы разговор. А так... я боюсь тебя обидеть.

— Пап, я поняла,— быстро ответила Мила.— Ничего трагического у меня не происходит. Все нормально. Давай чай пить.

«Откровенные беседы» у них в семье происходили редко. Когда Миле исполнилось четырнадцать лет, мама завела с ней тайственный разговор. Держа дочь за руки, глядя ей в глаза, она говорила о том, что все девочки становятся женщинами, это определено природой. Как это происходит, она не объяс-

нила, но сказала, что в каждом мужчине сидит зверь и рано или поздно он выходит наружу. Мила очень испугалась, но ничего не поняла. «И папа тоже зверь? — подумала она, но решила такого вопроса не задавать. — Нет, папа очень хороший. Он самый добрый».

На том и успокоились.

По возрасту Сергею Петровичу давно пора было на пенсию. Но теперь, когда жена расхворалась, он тем более не захотел уходить с работы. Работа составляла его жизнь. Стройку он знал отлично. Мог быть и каменщиком, и плотником, и отделочником. Потому что вникал во все процессы строительства основательно. Сам начинал с чернорабочего. Потом закончил техникум уже после войны. Стал прорабом, повышаться не захотел. Думал уйти на пенсию по льготе. Мучила язва на ноге. Остался. На объектах, ему подчиненных, почти не знали авралов, если он возводил его от «нуля», с котлована. Работали по сетевому графику, то есть по заранее спланированному регламенту. К нему на объект работать шли охотно, знали: у Петровича вольтинить не придется, зарплата будет твердая. Знали, что если Петрович требует, то за сделанное и заплатят сполна. На его участке всегда царил порядок: материалы сложены в штабеля, а не свалены как попало, подъездные пути расчищены, уложены бетоном, грузовики не вязнут в тучных ухабах.

Внешне Сергей Петрович нетороплив, обстоятелен. Каждое действие долго обдумывает, взвешивает. Жена его перевоспитывала,

старалась, чтобы он «быстрее шевелился». Но отец плохо поддавался домашней дрессировке. Познакомились они в сорок восьмом году. Сергей Петрович привел в медсанчасть плотника из строительного батальона с окровавленной кистью левой руки. Нина Петровна как раз дежурила. Быстро повела испуганного солдата в процедурный кабинет на промывание, потом в рентгеновский — снимок делать. Сергей Петрович ждал в коридоре. «Плохо за рабочими смотрите, парень чуть калекой не остался,— укорила она Сергея Петровича, но, встретив удрученный взгляд, пожалела:— Не горюйте, поправится!»

Сергея Петровича три дня как назначили мастером, повысили зарплату, из которой он уже собрался посылать родителям в Актюбинск на сто рублей больше, и вдруг это происшествие. Теперь его могли вообще уволить за нарушение техники безопасности, хотя сам он, разумеется, ничего не нарушал. Не стоять же возле каждого рабочего и следить, чтобы не сунул невзначай руку куда не нужно.

Его не уволили. Обошлось. Через неделю он пришел в больницу, разыскал свою будущую жену, молоденькую медичку, и отдал ей букет белой сирени. Букет был немножко вялый, оттого что два дня Сергей Петрович не заставлял на дежурстве именно ту медсестру, которая ему сразу приглянулась.

Когда Сергей Петрович мыл посуду, чашки не выскальзывали у него и не разбивались. Когда встряхивал коврики, на его рубашку не оседала пыль. Беспомощным он сделался теперь — все из рук валилось.

— ...Ты не знаешь, куда мамина общая

тетрадь делась? — спросил у дочери Сергей Петрович.

— Я тебе еще не сказала. Вера Анатольевна познакомила меня с одним человеком. Он посмотрит, нельзя ли что-то с ней сделать.

— Что именно? — забеспокоился отец.

— Ну я не знаю. Может быть, кино снять.

— Какое кино? Зачем? Ох, эта Вера Анатольевна, вечно что-нибудь затеет, неугомонная. Возьми тетрадь назад, пока она не затерялась. Я тебя прошу.

Мила удивленно смотрела на отца.

— Ничего из этого не выйдет, понимаешь? — продолжал отец. — Вера фантазирует, как всегда. То в ансамбль какой-то Нину устраивала, теперь кино придумала! Нет! Кроме нас с тобой, никому эта тетрадь не нужна. Не дорога. Забери! Мама писала не для кино, а для себя. Как могла, как хотела. Этому ее никто не учил, — Сергей Петрович горячился. — Понимаешь, там у них, в искусстве, свои законы, правила. Стиль, язык и все такое. А она этого ничего не знает. Просто записала и все.

— Пап, ну что ты волнуешься? Не надо! Я все поняла. Заберу. Завтра же.

— Правильно сделаешь. Я тебя прошу, пусть это будет наше. Может, твои дети, мои внуки читать будут. Узнают, какая у них прекрасная бабушка была... Нипочка.

Он стал тереть виски, лоб. Отвернулся. Порывисто вздохнул.

«Наверное, он прав, — подумала Мила. — Зря я отдала тетрадь. Пустая затея».

Клара Васильевна, заведующая библиотекой, прикалывала у входа афишку: «15-го июля в 19.00.—Поэтическая среда». Шел перечень никому не известных фамилий.

«Опять будет два с половиной слушателя на кучу молодых поэтов»,— решила Мила, здороваясь с заведующей. Та остановила ее:

— Людмила Сергеевна (на работе всех звали по имени и отчеству), на минуточку! Извините, хочу вас побеспокоить. Вы как-то обособленно живете от нас. Вы переживаете за маму, я знаю, но не надо замыкаться. Мы вам все сочувствуем, понимаем, идем навстречу. Никаких нагрузок, поручений. А ведь вы комсомолка у нас. Нужно участвовать в общей жизни. Вот у нас будет вечер поэзии. Вы поможете нам?

— Скажите, что делать. Я готова.

— Вот и чудесно! Надо обзвонить всех поэтов, напомнить о вечере. А то знаете, выступление шефское, бесплатное, они могут не прийти. Такой народ необязательный.

— Хорошо, я обзвоню.

— Прекрасно, я вам после телефоны запишу.

Мила поднялась в библиотеку на второй этаж и столкнулась в дверях с Надей, с Надеждой Алексеевной Поповой. У той на лице была трагедия.

— Привет! Что с тобой?—спросила Мила подругу.

— Только не говори никому.—Надя отвела ее к окну и тихо сообщила:—Я попала! Понимаешь?

Мила сообразила не сразу:

— Как это? А... Да ну?

— Уже пять недель. Господи, я так боюсь! Прямо не знаю, что делать.

Мила сочувственно смотрела на подругу.

Наде было двадцать два года. Стройная, яркая. Около нее всегда водились молодые люди. Она вечно во всеуслышание докладывала, с кем куда вчера ходила, кто куда ее пригласил. Закрытые просмотры в кинотеатрах, прогоны премьерных спектаклей «для пап и мам», международные выставки, с которых она приносила яркие целлофановые пакеты, чередовались у нее постоянно. Мила ей немного завидовала: живет, вращается, видит. И вот — надо же!

— Родители знают? — спросила Мила.

— Что ты, мать с ума сойдет! Или срочно замуж выдаст. Это точно. Спит и видит, как я ей внуков произвожу. Ни фига! — Надя открыла сумку, вытащила пачку сигарет, закурила, глубоко затягиваясь, выпуская дым сквозь нервно раздувающиеся ноздри.— Я в кухарки мужу не собираюсь, — продолжала она.— Вон у меня старшая сестра третий год живет на кухне да в ванной. Стирает — готовит, готовит — стирает. Не жизнь, а сказка! А ее Мишенька в это время ледокол строит.

— Как строит?

— Это я утрирую. Он автомашинами увлекается на досуге. Страсть у него к железкам. Готов всякому встречному-поперечному задаром в его машине копать круглосуточно. Из любви к искусству. А те и рады: «Мишенька, помоги! Мишенька, заведи!» Он копается, а жена с двумя малышами на кухне чахнет. Так-то! Нет, позвоню сегодня кое-кому, может, помогут.

— В больницу ляжешь?

— Что ты, там три дня торчать надо. Что я своим скажу, где была? Нет, нужно по-другому.

— Боишься? — спросила Мила. — Наверное, больно.

— Что же делать остается. Такая наша доля... Некоторые по десять раз умудряются...

— Знаешь что,— Мила глянула подруге в глаза.— Ты позови меня, если понадобится. Я помогу, если сумею. И молчать буду.

— Спасибо, роднуля! Ты человек.

— Девочки! Надежда Алексеевна! Людмила Сергеевна, народ ждет. Рабочий день начался,— выглянула из дверей заведующая.

И они спрыгнули с подоконника.

После работы Мила ехала домой, собираясь звонить поэтам, напоминать о вечере. «И еще не забыть позвонить тете Вере насчет тетрадки. Не забыть!»

Солнце, заходя, окрашивало дома в золотой цвет. Люди торопились, но не слишком. Всех словно радовало наступившее теплое лето, возможность ходить налегке, в тонком платье, с открытой головой.

В трамвае напротив Милы сидела молодая женщина с ребенком на коленях. Малыш вертел головкой, смотрел по сторонам с бессмысленным любопытством. Из-под легкой шапочки выбивались тонкие пушистые завитки волос. Ручонками он не переставал хвататься то за мамину сумку, то за платье, куда-то вырывался, вертелся и лопотал.

«Такой может быть у Нади,— подумала

Мила, наблюдая за малышом.— Почему только у Нади? И у меня тоже... Вот такой маленький, смешной, с перышками.— Она взглянула на женщину, державшую малыша:— Сколько ей лет? Лицо утомленное, но очень молодое. Моложе меня, наверное. Ребенка держит, как драгоценность».

Впереди были суббота и воскресенье — два нудных длинных дня, которые Мила ненавидела. Сидишь дома. Все перемоешь, обед сготовишь, навалешься с книгой, подремлешь у телевизора — каждую неделю одно и то же. Пока мама не заболела, жилось куда веселее: встречали гостей, сами шли в гости, пробивались в театр, как студенты на лишний билетик, ездили в Щукино или в Серебряный Бор купаться в реке. Или вдруг на маму находило вдохновение и она ловко в два часа выкраивала и шила из куска ситца два ослепительных сарафана — себе и дочке. И тогда, втроем, мама и дочка в обновках, шли гулять просто так. Ели эскимо, строили планы, как бы совершить путешествие вокруг Европы на роскошном лайнере, как тетя Вера в позапрошлом году, или хотя бы на теплоходе по Волге от Москвы до Астрахани.

Друзей у Милы почти не было. Она не была заводилой, не умела бесшабашничать, сторонилась шумных компаний, с укором смотрела на девушек, зазывно хохочущих на улице... Но в облике ее было что-то отцовское, спокойное, располагающее — и одноклассницы любили доверять ей свои секреты. Знали: Мила не разболтает. А друзей не было. Вернее, не было одного друга. Был Юрик. Но это так... Что-то само собой разумеющееся, привычное.

Хотелось какой-то невероятной дружбы. Такой, какая в книгах о благородных, сильных людях.

Мила все больше понимала бессмысленность своих мечтаний. Жизнь приспособливает людей к обстоятельствам, и они становятся расчетливыми. «Виктор расчетлив со мной. Вспомнил обо мне тогда, когда понадобилась подружка для вечера. Я расчетлива с Юриком. Эксплуатирую его отзывчивость, зная, что никогда не отвечу ему тем же,— признавалась себе Мила.— Но ведь надо жить интересно. Нужно чем-то наполнять свое существование. Одним чтением хороших книг не обойдешься. От них в конце концов теряешь чувство реального, тупеешь, как при выходе из кинотеатра: видишь знакомую улицу и не узнаешь.

Почему на меня никто не обращает внимания? Неужели я такая серенькая, простенькая? Неужели нет человека, который бы меня понял и оценил?» Когда она об этом думала, ее лицо становилось жалким, шея вытягивалась, спина сутулилась. Она становилась одной из тысяч безликих, не нашедших себя девушек, обреченных на долгое безбрачие и суровое материнство.

Дома Милу ждал сюрприз.

Возле их подъезда стоял вишневый «Москвич» тети Веры. Сама она сидела поблизости на скамейке, в черных эластичных брюках и яркой блузке с закатанными рукавами.

— Вас никого дома нет, я уже собралась уезжать,— сказала она, встав навстречу обрадованной Миле.— Здравствуй, девочка! Я тут была в гостях поблизости, решила за-

ехать за тобой. Мама просила тебя потормозить, а то ты у нас совсем закисла. Давай покатаемся. Я весь вечер свободна как птица.

— Ура! — воскликнула Мила. — Я только папе записку оставлю. А может, поднимемся к нам, чаю попьем?

— Нет, не надо. Потом.

— Тогда я быстро.

Через три минуты она выбежала переодетая. Вера Анатольевна села за руль, и они поехали.

«Женщина за рулем — как это здорово!» — думала Мила, глядя на Веру Анатольевну. Пешеходы с интересом оборачивались вслед. Шоферы встречных машин улыбались, одобрительно кивали, делали какие-то знаки. Вера Анатольевна не реагировала. К вниманию окружающих, даже к любопытству она привыкла, принимая как должное.

— Хочешь, научу водить машину? — словно угадав ее мысли, спросила актриса.

— Меня?

— Тебя.

— Разве я сумею?

— Почему нет? Премудрость не велика.

— Ой, тетя Верочка, как здорово!

— Сейчас найдем подходящее место, дам тебе первый урок. — Она вырулила на территорию частных гаражей. Меж двух рядов добротных свежеекрашенных ворот шла асфальтированная широкая дорожка.

— Садись на мое место, — велела Вера Анатольевна, остановившись. — Смотри, у тебя под ногами три педали. Их назначение...

Мила глядела под ноги, переводила взгляд на приборный щит, и ей казалось, что она ни-

Когда не научится всем этим управлять. Машина и восхищала, и пугала ее одновременно. Но желание проехать, как Вера Анатольевна, в сверкающем автомобиле, привлекая к себе восхищенные взгляды, было сильно.

— Я вначале тоже думала, что ничего у меня не выйдет,— рассказывала Вера Анатольевна.— Но как видишь, езжу не хуже других. Вообще я скажу: тебе даже необходимо научиться этому. Ты какая-то неуверенная, скованная, робкая. А современная девушка должна быть — огонь! Она должна блистать, держать себя гордо, независимо. Автомобиль дает ощущение силы. Временами я так устаю — что не удивительно в мои годы — так мне белый свет не мил, хоть ложись и помнирай. А работать надо. Тогда я сажусь за руль и еду. Куда глаза глядят, все равно. Зато все печали как рукой снимает, ни о чем не думаешь, только на дорогу смотришь. Все мысли только о дороге. Так что давай осваивай, пока я рядом.

— Не бойтесь, что я куда-нибудь въеду неправильно?

— А ты не въезжай. Лучше вот смотри: это педаль сцепления, по-иностранному — амбриаж (звучит?). Сначала выжимай сцепление, включай первую скорость, отпуская сцепление и подавая газ. Ступни ног работают как ножницы, плавно, мягко. С машиной надо обращаться нежно. Она это любит и платит безотказной работой. Поняла? Действуй.

После теории — первая попытка стронуть машину. Почувствовав движение, Мила испугалась новому ощущению. Она стала шарить ногой, ища педаль тормоза.

— Сцепление, тормоз,— подсказала Вера Анатольевна.— Голос ее звучал громко, но спокойно.— Молодец. Отдохни. Попробуем еще раз.

Через полчаса у Милы начали дрожать колени. Она покраснелась.

— На первый раз хватит,— скомандовала Вера Анатольевна. Они поменялись местами.— Не возражаешь, я закурю?

— Конечно, курите, пожалуйста. На меня дым не действует.

Вера Анатольевна закурила, Мила потянула носом:

— Приятно пахнет.

Вера Анатольевна рассмеялась. Ее улыбка, известная тысячам людей, обнажила ряд ровных белых зубов.

— Вы очень красивая, тетя Вера,— любясь ею, сообщила Мила.

— Была! Лет двадцать тому назад. Это все,— она указала на свое лицо,— плоды ежедневных стараний и ухищрений. Актриса должна держаться на уровне... Хорошо было в молодости — надела туфли на каблуке, подкрахмалила блузочку — и ты красавица. А сегодня я у массажистки три часа сижу. Вот как.

— Зато результат какой! Вот мама одних с вами лет, а выглядит гораздо старше вас.

— Твоя мама совсем другой человек. Меньше всего ее беспокоила собственная внешность. Ты знаешь, я ее однажды, когда ты еще совсем маленькая была, затащила в парикмахерскую. Тогда в моде была шестимесячная завивка. Уж она упиралась! Уж так не хотела даваться мастеру. А как расплели

ей пучок ее воробьиный, как отсекли ее хвостики, она аж расплакалась. Так и вышла из парикмахерской в кудельках и с красными глазами. Я ей говорю: давай нос припудрим. Она — ни за что!

— Да, косметику она не признает. И мне не велит ресницы красить. Боится, что заражение глаз получится.

— И все-таки она была красивая... По-человечески.— Вера Анатольевна задумалась.— Кавалеров не имела. Зато друзей — позавидуешь! У тебя, мне кажется, с кавалерами тоже не густо?

Мила промолчала.

— Ничего! Дело поправимое. Вот научишься водить машину, будешь брать у меня когда захочешь. И пусть все эти юноши слепые, нехорошие, увидят, какая ты интересная девушка. Десять уроков, и ты эту премудрость освоишь, я уверена. У тебя самое главное достоинство: не смотришь на педали и ручку переключения. Только на дорогу.

— За что вы со мной такая щедрая?

— Ты дочь Нины, моей единственной, верной фронтовой подруги. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. У меня суматошная жизнь. Мне некогда поговорить с дочерью моей единственной подруги по душам. Я хочу быть тебе полезной хоть в этом.

— Хорошо, тогда я буду мыть вам автомобиль. Чтобы он всегда блестел, идет?

— Замечательно!

Дверь им открыл Сергей Петрович:

— Смотрю, подкатывает лимузин, выходят

две дамы с тортом — пригляделся, а это вы. Здравствуй, Верочка! Ты чудесно выглядишь.

Вера Анатольевна отдала ему коробку:

— Спасибо, Сережа. Ты тоже мог бы слегка поправиться. Продолжаешь бегать по стройке больше всех?

— Умный руководитель на бегаёт, он других посылает, — отшутился Сергей Петрович.

— Тогда подавай нам чай!

Пили из маминого сервиза, который в прошлом году отец принес на Восьмое марта: тонкие чашечки-скорлупки, разрисованные нелепыми розово-зелеными цветами с яркими пятнами позолоты. В тонкостях рисунка отец не разбирался. Но, уловив мамино замешательство при виде сервиза, сообщил немалую его цену. Решили не дрожать над дорогостоящим набором, и вскоре он поуменьшился на несколько разбитых, поколотых при мытье предметов.

— У Милы все данные для автовождения, — уверяла Сергея Петровича гостья. — Увидишь, скоро она будет раскатывать по вашим закоулкам, как принцесса.

— На твоей машине? — спросил Сергей Петрович.

— Пока на моей.

— Я боюсь, Вера. Такое движение в городе, столько аварий. Нет, не надо девочке ездить. Тебе, конечно, спасибо. Но я боюсь. Это небезопасно.

— Чудак-человек! Милу надо расшевелить. Она сонная, тихоня, словно ей не двадцать лет. За нею сейчас мальчишки толпою должны ходить.

— Это не главное в жизни, — заявил Сергей Петрович.

— В жизни все главное.

— По-твоему, девушка только о кавалерах и должна беспокоиться?

— В ее годы непременно!

— А работа? А призвание?

— Одно другому не мешает. Даже наоборот. Вот я, например, если не чувствую, что меня любят, мною восхищаются, я просто хирею, чахну. И ищу способ, как заполучить эту любовь, начинаю работать втрое больше.

— Ты актриса. Это естественно, — заключил Сергей Петрович.

— А она библиотекарь. Ну и что? Значит, сиди и не рыпайся? Впрочем, что мы с тобой судим. По-моему, девочке очень понравилось быть за рулем. Правда, Мила?

Мила кивнула и посмотрела на отца.

— Когда нам с Ниной было по двадцать лет, ох, какие мы живые были! И голодно, и скудно, а не унывали. Устремленные были. Ждали от жизни многого. И отдавали, правда, много. Крепко нас война раскрутила. Ходили рядом со смертью, оттого возлюбили жизнь.

Помолчав, Сергей Петрович спросил:

— Вера, что вы с тетрадью надумали делать? Я беспокоюсь, как бы она не затерялась.

— Не волнуйся, она никуда не денется. Ее прочтут знающие люди и решат, может быть, в кино снять.

— Разве там нет своих сочинителей? Профессионалов?

— Навалом! Но эта тетрадь — живой материал, не выдуманный. Да и просто-напросто Нина — моя подруга. Могу я сделать для нее что-нибудь полезное? Пусть она знает, что прошлое рядом. И значит, рядом наша молодость.

Они допивали чай.

Вера Анатольевна думала: «Как он не понимает, чужак!»

Сергей Петрович жалел тетрадь.

А Мила представляла себя за рулем.

Как ни странно, все поэты явились на вечер вовремя. Среди них был старший, лет пятидесяти, невысокого роста, к которому его подопечные почему-то обращались на «ты», называя то Сашей, то Александром Ивановичем. Все они были оживленны и настроены весело, будто радовались тому, что им предстоит.

Мила с тревогой поглядывала в читальный зал, где народу не прибавлялось. За первым столом уже сидел «дотошный». Так этого читателя окрестила про себя Мила за то, что он приходил на все литературные встречи, с недоверчивым лицом выслушивал выступающих и в конце концов задавал авторам бесконечные каверзные и путаные вопросы, затевал споры с писателями, будто имел цель сбить их с толку или в чем-то уличить. Было в его облике, в потрепанном пиджаке, в хитром взгляде что-то жалкое. И ораторы выслушивали его вежливо, стараясь отвечать коротко и четко. Что, впрочем, его мало успокаивало.

Как и ожидалось, слушателей было чуть

побольше, чем выступающих. Но поэты не приуныли. Они, видно, не успели еще привыкнуть к большим и чутким аудиториям, к шумным аплодисментам. Им пока еще нравилось пробовать свои голоса без микрофона, вкладывать энергию не столько в ритмическое звучание стихов, сколько в самую суть слов. Все они читали без выражения — нараспев, монотонно, словно боясь голосом выделиться среди товарищей. Стихи были хорошие.

Один из поэтов читал о том, что каждую весною «стригут деревья под одну гребенку», и все равно среди буйной и счастливой жизни пробиваются «неровными ростками тополя». Еще он читал о том, как девочка на птичьем рынке покупает птиц и выпускает их на волю, только на всех у нее не хватает денег...

Его сосед, невысокого роста, сутулый, почти мальчик, тихо декламировал:

И до тебя я тоже жил,
Жил тоже жадно и запальчиво.
Я многих девочек любил,
Как ты, наверно, многих мальчиков.

Он слегка увяз языком в своих ж-ж-ж. Но это было почти не заметно.

Везло мне что-то на Наташ,
Я так безумно в них влюблялся.
Я грыз бессонно карандаш
И в ночь, как в море, углублялся...

Мила видела его сбоку. «Ты-то влюблялся! А по тебе вздыхала ли хоть одна? Маленький, некрасивый». Она осмотрела всех остальных: ничего выдающегося. «А ведь они поэты! Творцы. Сейчас еще молодые. Но

когда-нибудь станут, может быть, знаменитыми. Как же можно быть таким неприметным и писать стихи? Несуразица какая-то».

После жидких аплодисментов поднялась поэтесса. И ее Мила оглядела с удивлением: лицо рядовое, волосы на затылке перехвачены аптечной резинкой и тонким хвостом свисают вдоль худой шеи. «Я страшна, а ты и подавно», — решила про себя девушка. Тут послышалось:

Я иду по белу свету,
Я ищу и здесь и там
Бородатого атлета
По прозвищу Адам.

Мила насторожилась. Нет, она раньше этих стихов не слышала, но они были удивительно знакомые, как будто она сама говорила голоском поэтессы:

А за мной по белу кругу
В ночь рождения зари
Ходит вьюга, ходит вьюга
И качает фонари.
Забываясь непрерывно,
Спотыкаясь на ходу.
И луна горит призывно
Белым яблоком в саду.

Когда все отчитали, Александр Иванович, словно дополняя лирическое однообразие, тягучую монотонность молодых голосов, улыбаясь, прочел юмористическое стихотворение из своей фронтовой тетради. Молодые слушали с облегчением и одобрительно кивали. При заключительных строчках зал оживился. Но на предложение задавать вопросы отреагировал вяло. Кто-то спросил: «Скажите, пожалуйста, чем сейчас занима-

ется поэт Евтушенко?» Александр Иванович ответил коротко: «Он в заграничной поездке». Больше вопросов не было. Даже «дотошный» помалкивал. Но когда все стали расходиться, он подошел к поэтессе, которая читала про Адама, и что-то начал ей говорить, даже взял ее за руку, а она смотрела на него почти испуганно. Товарищи выручили ее, почти силком оторвали от говорливого человечка, повторявшего: «А вот увидите, честное слово! Вот увидите!»

Всего час длился вечер, слушатели не устали. Да и поэты тоже. Пока Клара Васильевна выражала благодарность ведущему, пока он, несколько смущаясь, подписывал сборник своих стихов по ее просьбе, поэты в стороне о чем-то разговаривали, шутили. У них не было еще сборников, их тощие рукописи ждали своей очереди в редакциях и издательствах. И если бы Мила подошла поближе, она услышала бы, как они решают пойти в Дом литераторов «попить кофейку», но не уверены, что один Александр Иванович сможет провести с собой целую ораву мимо бдительной дежурной у входа в цитадель искусств.

— Пап, ты этого поэта знаешь? — Мила протянула газету. — Он у нас вчера выступал.

— Его статья?

— Прочти, любопытно.

Сергей Петрович, не откладывая, углубился в текст:

«В прошлом веке было сказано: «Писать

стихи — еще не значит быть поэтом. Все книжные лавки завалены доказательствами этой истины». Кто станет отрицать, что нынче это звучит не актуально? На фоне общего книжного голода поэтический прилавок благоденствует. Пестрят имена, мелькают обложки. Однако не толчется возле них покупатель, не больно интересуется новинками. Разве что провинциал какой-нибудь робко спросит Есенина или, на худой конец, Лермонтова. Но вскоре поймет безнадежность предприятия. Грустить или радоваться?»

Сергей Петрович поправил очки на переносице и прочел дальше: «Получается заколдованный круг: бескорыстие порождает корысть. Не оттого ли в еще не окрепших голосах с явным юношеским фальцетом часто слышен лязг оружия, как всякое иное призвание, поэзия уступает своему завоевателю? Говорят «дар божий». Но почему так непременно, так необходимо разделить его со всем светом? Когда поэт осознает эту необходимость, дар оборачивается наказанием. В первую очередь для него самого».

Сергей Петрович хмыкнул и прочел дальше: «Коммунизм еще не настал, мы его пока строим. Иначе было бы очень просто сказать тому или иному творцу: уступи место товарищу, поделись своими тиражами, видишь, твои книги залеживаются? Пока такой разговор невозможен, потому что интересы искусства испытывают мощное влияние материального фактора. Это все равно что сказать: уступи мне твою квартиру, дубленку и дачу в пригороде...

Если поэты рождаются от несовершенства

жизни, то кто регулирует плотность их рядов? Они идут, робкие и шумные, честные и энергичные, сильные и слабые, юноши и старики. Каждый верит в свою музу, каждый надеется, что рано или поздно его поэзия уложится в схему того или иного редакторского восприятия и тогда в судьбе еще одного творца случится праздник».

— Ты понял? Это о тех, кто не умест как надо и просто пишет по желанию души, что ли. Как мама. — Мила смотрела на отца и знала, что он ее понимает.

— Но ведь Ниночка не стихи написала...

— Какая разница! Написала. И мы читаем.

Звонок раздался в одиннадцатом часу ночи. Незнакомый женский голос спросил:

— Квартира Ивановых? Пожалуйста, Людмилу.

— Это я.

Голос, таинственно затихая, продолжал:

— Я из больницы. Здесь ваша подруга. Ее необходимо срочно увезти домой, понимаете? Запишите адрес.

Мила не долго мешкала. Скоро оделась и кинулась на улицу. Такси оказалось грузовое, с большим, неуютным салоном и сильным запахом бензина.

...Надя ждала ее, сидя на скамейке напротив приемного отделения.

— Спасибо, родная! — сказала она, неловко поднимаясь и подходя к дверце. — Кроме тебя никто не знает... Ужас, какой

ужас, — повторила она, не обращая внимания на обернувшегося шофера. — В первый и последний раз... Можно, я у тебя перепочую?

В дороге ее стошнило.

При свете ночника она разглядела испуганную Людмилу и заверила:

— К завтраму очухаюсь.

Что же это, думала Мила, подруга моложе меня, и уже такое. Неужели нельзя без этого. Неужели свобода и молодость должны этим расплачиваться? И со мной такое случится. Что бы сказал Виктор? Он бы мог сказать: «Будем вместе. Ты, я и третий маленький, с полными ручками и ножками». Нет, не скажет. Она вспомнила свои глупые ухищрения: обрезанные юбки, туфли на невыдуманных каблуках, от которых ныли ноги, дурацкий хула-хуп. Ей стало стыдно и жаль себя.

— Знаешь, папа, я не буду ездить на машине тети Веры, — сказала Мила отцу.

— Правильно, вещь чужая, дорогая. Мало ли, еще повредишь. Потом расплачивайся. — Сергей Петрович удовлетворенно вздохнул и подал дочери конверт: — Тут письмо пришло от Юры. — Он с надеждой посмотрел на дочь.

— Папа, Юра мне тоже не интересен. Мне никто не интересен, кроме тебя с мамой.

— Ну что ж, — протянул Сергей Петрович. — Тебе виднее.

Он надел очки, раскрыл общую тетрадь и продолжил чтение. Там в незатейливых строчках воспоминаний дышала далекая и па-

мятная жизнь, от которой его ущемленное сердце заходило горячей тоской. Он видел милую добрую девушку с хорошими глазами и открытым лицом — свою жену. Она склонялась над раненым воином и шептала: «Потерпи, миленький, все будет хорошо. Потерпи!» Над головой у нее вздымалось пламя, вспыхивал пунтир автоматных очередей, подброшенные взрывной волной, взлетали ошметки черной земли.

Из кухни вышла санинструктор и голосом дочери сказала:

— Давай чай пить.

На кухонном столе ожидал сверток: сквозь целлофан горели оранжевые шары апельсинов.

— Хорошо бы клубники свежей, — пожелал отец.

— Заглянем на рынок по пути, — предложила дочь.

— Не опоздаем? — отец взглянул на часы.

— На машине быстро. — Мила пояснила: — В последний раз. Ведь маму выпишут скоро, правда же?

Уходя, отец положил общую тетрадь в ящик письменного стола, повернул ключ, но не вынул его из гнезда, оставил. Пока есть эта тетрадь, ему легче соединить в один образ два дорогих ему лица: постаревшее, утомленное болезнью, и юное, открытое, милое. Оба ему дороги. И оба страшно потерять.

Лед

Врачи велели остерегаться всего: физических нагрузок, переохлаждения, сырости. Давясь и морщась, она проглатывала перед едой столовую ложку мешанины из меда, тертых орехов и лимона, которая должна была возродить в ее организме бодрый дух и юную энергию. Духа не было. И энергии тоже. Была апатия и вялость. Но однажды она сказала себе: «Так невозможно! Вокруг столько неожиданной музыки, света. Они что-то сулят. Это нужно узнать».

Выпал чистый снег. Ударил мороз. По вечерам с ближнего катка стали доноситься мелодии. Надев валенки, обмотавшись шерстяным платком, она шла туда, к яркому свету. На белом круге чистого льда скользили возбужденные, счастливые люди. Среди них были и ее одноклассники: вон тот длинный в белой кроличьей шапке, Шарапов. Вон Шура Стрельцова с подругой Верой. Смеются. Им хорошо. А она как у чужого праздника... У нее коньков сроду не было. Даже на санках детских не успела накататься — заболела во втором классе ангиной. Только выздоровела, опять слегла. Потом осложнение на сердце. Ревмокардит и прочее, прочее. Тоска... Врачи велели беречься. «Надоело. Сколько можно!» На антресолях откопала давнишние коньки с ботинками — имущество брата, который про них уже и забыл вовсе, вернувшись из армии, женившись и став серьезным человеком. Примерила: на три размера больше. Надела две пары носков. И вышло в пору.

На каток пошла рано утром, чтобы никто

не видел. К се радости, лед был свободен, ни одного человека вблизи. Она тут же на скамейке переобулась и, расставив руки, для равновесия, медленно вступила на лед.

Ей сделалось страшно: не то что двигаться, но просто стоять было невыносимо. Ноги подкашивались. Она боялась упасть и больно ушибиться. Вдруг пришла мысль о безнадежности затеи. У нее не было даже понятия, как надо стоять, отталкиваться, двигаться. И она упала. Подниматься было еще сложнее. Ноги разъезжались, ухватиться не за что. Она бы заплакала от досады, но картина вечернего праздника была так соблазнительна, что она решила биться дальше. Вышло, что она чуть-чуть проехала. Это оказалось здорово. Она заставила себя оторвать ногу ото льда и опереться на другую. И поняла, что так нужно делать. Давно, когда ее еще не освободили от уроков физкультуры, они в спортивном зале делали упражнение «конькобежец». Сейчас она попыталась его воспроизвести. И снова упала. Поскольку на ней была цигейковая шуба, удар не был болезненным. В этот день она больше стояла, чем двигалась. Но это уже было что-то.

Когда она шла домой, ноги дрожали от усталости. Два дня у нее болели икры и сводило судорогой пальцы ног. На третий день она пошла опять.

Никто ничего не знал. Она радовалась: «Вот научусь кататься, пусть тогда увидят!»

Спустя недели три ей удавалось, не остывшись, вставать на лед, отталкиваться и ехать прямо. Предстояло одолеть повороты.

На поворотах ее заносило, приходилось бегаться от падения.

Пришел день, когда лед перестал пугать ее, когда езда уже доставляла удовольствие. Она разгонялась, летела по длинной дорожке, чувствовала на лице морозные иголки снега. Солнце веселило ее. Теперь она не надевала шубу, нашлась одежда полегче. Теперь ей хотелось, чтобы увидели и оценили ее легкость. Так и случилось.

За ней наблюдали. Несколько мальчиков и девочек пришли кататься. Они проезжали мимо нее, иногда оборачиваясь, словно говоря: и мы так можем. А один даже улыбнулся ей, как знакомой. Что ж, компания была приятная. И она с удовольствием демонстрировала свои возможности. Но чуть-чуть перестаралась, потеряла равновесие и шлепнулась. Не успела подняться — чья-то рука пришла на помощь. Она подняла лицо: тот, который улыбался — стоит рядом. Смотрит сочувственно. Жалеет. И ничего не говорит.

Она произнесла «спасибо», отряхнулась и поехала. Обернулась: он стоит. Потом поехал за ней.

Она летела по чистому льду и чувствовала, как он едет следом, заходит справа, потом слева. Словно оберегает ее от чего-то. Но она уже устала. Пора было в школу — она училась во вторую смену. Переобувшись, уже у выхода обернулась: те тоже переобувались. Он смотрел в ее сторону.

На химии ее одернули:

— О чем мечтаешь?

Она не мечтала. Просто вспоминала, как к ней протянулась красная от мороза рука

и помогла подняться. Сильная и мягкая рука. И как он смотрел! Неужто она ему понравилась? Конечно. Это ясно. На нее никто никогда так не смотрел. Она была некрасивая. Так считалось в классе и во дворе. Бледная, вечно замотанная в шарфы и кофты. Было новое ощущение, и оно ее веселило. На перемене она не выдержала и сообщила подруге:

— В меня один мальчик влюбился.

— Кто? — оживилась та.

Она задумалась: действительно, кто он? Но добавила:

— Секрет.

Подруга решила, что ее разыгрывают. «Не может никто влюбиться в такую дурнушку», — определила она, и интерес ее тут же иссяк.

На каток она пошла не в платке, а в шапочке с помпоном. В дырочки вязки непривычно задувало. Но ей очень хотелось не выглядеть «техой». Он был там. Один, без товарищей. И явно дожидался ее. Она чувствовала, что краснеет, и даже пачала спотыкаться больше обычного. Но он улыбался без насмешки, кружил рядом, и она перестала стесняться. Опять было солнце, блеск снежной пыли, звук разрезаемого льда.

— Мы все про тебя знаем! — заявила подруга. — Видели, как ты катаешься с этим длинным. Ты что, не боишься?

— Чего мне бояться? — спросила она, чуя подвох.

— Он же дефективный!

— Как это?

— Он же из двадцатой школы. А там де-

фективные учатся, поняла? Глухонемые всякие.

Теперь она поняла, почему он не заговорил с ней.

Ей стало невыносимо обидно, как будто ее беззастенчиво обманули.

Больше она не ходила утром на каток. Она испугалась. Испугалась его немоты. С содроганием представила себе, как он пытается что-то сказать и у него вместо речи получается какой-то мычащий звук.

Почувствовать себя предательницей она не успела: началась оттепель. Потом были еще хорошие морозные дни. Но они ее больше не тревожили.

...Прошло несколько лет. Она окрепла. С удивлением вспоминала свои детские недуги и радовалась, что стала здоровой и даже интересной девушкой. Замуж она вышла за хорошего человека. Он был подающий надежды молодой специалист — целенаправленный, устремленный. Он приучил ее к холодным обтираниям по утрам, спортивному бегу, здоровому рациону. Они почти не ссорились. Очень редко. Из-за нее. Потому что она была иногда ленива и иногда что-нибудь забывала сделать вовремя. Тогда он становился холоден и спокойно, методично делал ей внушение. Однажды она слушала его нарекания и думала: «Почему он никогда на меня так не посмотрит? Так, как смотрел тот молчаливый мальчик на льду?» И она жалела себя до тех пор, пока муж не переменял тон и не спросил удивленно:

— О чем ты мечтаешь?

Старики и старушки

Анне Тимофеевне Воробьевой стукнуло семьдесят два года, когда у нее началась новая жизнь. А произошло это так.

Нынешняя горожанка, давно освоившаяся в переменчивой суетливой среде, когда-то была деревенской жительницей. Был у нее свой дом, хозяйство, огородик и кое-какая живность. Все бы хорошо, да стал сын из города звать: приезжай, маманя, внука нянчить. Бросай своих кур — человек дороже, важнее. Человеку шел третий год, звали его Андрюша, и любим он был всеми безмерно.

Город расстроил Анну Тимофеевну. Что ни возьми, за всем в магазин идти нужно. В деревне лучше. Пошел на огород, картошки накопал, лучку надергал, маслица из погребца достал — вот и обед. Да и курочку зарезать можно.

В городе суматошно. Однако и свои радости есть. Кино целый день показывают. Не то что в сельском клубе один сеанс в двадцать один ноль-ноль, когда уже в сон клонит. Трамвай, автобусы ходят один за другим. А у них в деревне, бывало, по два часа автобуса ждали, чтобы до станции добраться.

Невестка обрадовалась прибывшей помощи, тут же стала вводить Анну Тимофеевну в курс дела: по какому распорядку живет малыш, да как его кормить, да что в какую пору надевать. Свекровь с интересом вникала, но и удивлялась, что же тут непонятного? Дите оно и есть дите. Корми, переодевай да глаз не спускай. «Вот и замечательно», — ска-

зала невестка и пошла работать в свой институт. Одевалась она очень прилично, старательно, и видно было, что работа ей нравится.

За сына Анна Тимофеевна не беспокоилась. Он у нее серьезный, деятельный. Одно смущало ее — больно жене потекает. Последнее, а часто и главное слово было за ней. «Я сказала, значит, так должно быть», — заявляла молодая мать. И Вася смиренно опускал глаза: я, мол, не спорю. Догадывалась мать, что за причина такого смирения. Вася — то из деревни в город пришел. Квартиру эту не он заработал. И было ему оттого неловко.

Тогда и решилась Анна Тимофеевна. Съездила перед ноябрьскими праздниками в деревню да и продала свой домшко со всем хозяйством. Вернулась с тремя тысячами за пазухой и двумя оципантыми петушками в узле.

— Пошли, дорогая невестушка, в мебельный магазин. Хочу вам подарок сделать. На свадьбе я у вас не была. Так теперь оправдаюсь.

Невестка приятно удивилась, но быстро понимала с головы бигуды, оделась, не забыв навести на лице красоту розовой помадой.

В магазине Анна Тимофеевна долго разглядывала предметы обстановки и определяла:

— Вот эту тахту брать надо, шифоньер трехстворчатый и стол раздвижной.

За все выходило около четырех сотен. Не больно дорого и красиво.

Но невестка равнодушно обозрела названные предметы и с теплым вниманием стала

рассматривать гарнитуру «Жилая комната» из шестнадцати предметов стоимостью в две с половиной тысячи. Тут было все. Целую квартиру сразу можно было обставить.

Анна Тимофеевна поняла желание невестки и заколебалась: там дешевле, зато здесь богаче. «Была не была! — сказала она себе. — Неужто я не расстараяюсь для молодых? Пусть живут, радуются. Бог с ними, с деньгами».

Когда в квартире воцарилась новая мебель, атмосфера в доме стала еще приятней. Невестка сидела на плюшевом диване и подшивала юбку. Вася налаживал сыну детскую железную дорогу. А Анна Тимофеевна творила на кухне щи из свежей капусты...

...На праздничной скатерти в строгом порядке располагались тонкие закуски.

— Ну, маманя, выпьем за хорошую жизнь! — сказал Вася, поднимая граненую рюмку.

— За вас, мои хорошие! За вас, мои дорогие. За тебя, внучек мой ненаглядный!

Невестка сидела в шелковом нарядном платье, с алым маникюром на пальцах. Колбасу она цепляла вилкой, отрезала кусочек и жевала с закрытым ртом. Анна Тимофеевна давно научилась от нее разным деликатным манерам: не брала с тарелки рукой, не смахивала крошки со стола передником и первое на стол подавала в супнице, а не в кастрюле. Она уважала образованность. Но порою требования невестки утомляли ее.

«Нельзя давать ребенку целый капустный лист, подавится!»

«Для зубов полезно», — объясняла бабка.

«Я ему соков накупила!»

Спорить было бесполезно.

«Ты, маманя, действительно, не давай ему малосольных огурцов, — вплетался сын. — Желудочек может расстроиться».

Обучилась Анна Тимофеевна городским павыкам: не кормила ребенка со своей ложки, всякий раз обдавала кипятком упавшую на пол детскую игрушку, не произносила некультурных слов вроде «авось» и «намедни».

Время шло. За каждодневными хозяйственными хлопотами не замечалось его неуловимое течение. Подрос Андрюша. Прибавилось в доме проблем. Поубавилось жизненного пространства: «Ты храпишь ночью», — заявил бабушке внук. Это было для нее новостью. И она стала натягивать одеяло до самого носа, закрывая рот. Но по почам одеяло забивалось в рот, она просыпалась от духоты и до утра не могла уже заснуть.

Андрюша пошел в школу. Пока он упражнялся в написании палочек и кружочков, бабушка наблюдала за ним и ободряла, сидя рядом. Когда же пошли математические примеры с иксами, старушка спикла: для нее это был темный лес.

К окончанию школы внук вымахал в рослого, с неровным хриловатым голосом юношу. Как-то он привел домой подружку. Чтобы «бабенция» не помешала беседе, он зажал дверь их общей комнаты ножкой от табурета. Анна Тимофеевна дернула ручку раз, дернула другой и бессильно заплакала.

Все чаще вспоминала она свой домик, палисадник с черемухой и старую грушу у крыльца.

На невестке годы не отражались: она ос-

тавалась свежа, румяна и легка на подъем.

«Можно бы гостей позвать, но у нас так тесно», — вздыхала она, глядя на свекровь так, как будто все дело было в ней.

«Так что подал я заявление на квартиру, — сообщил как-то сын и, опустив глаза, шумно выдохнул. — На заводе обещали...»

Сын с женой и парнем переехали в новый дом. Анна Тимофеевна получила комнату за выездом в старом, но крепком кирпичном доме. У нее оказалась приличная соседка, спокойная вежливая старушка. Она недавно похоронила мужа и часто ездила к нему на кладбище. Возвращаясь, снимала маленькую старомодную черную шляпку, черные кружевные перчатки и шла на общую кухню ставить чайник. В ее комнате на диване, телевизоре и комодке лежали вязаные салфетки. В углу у окна стоял на тонких гнутых ножках изящный столик, весь украшенный перламутровыми цветами. «Это инкрустация. Старинная вещь, — объяснила соседка Анне Тимофеевне. — Самое дорогое, что у меня осталось. Многие пришлось продать. Как-то надо жить».

«Я тоже не шибко богатая, — успокоила ее Анна Тимофеевна. — У меня на книжке шестьсот три рубля. Похоронные. Думаю, хватит». — «Хватит, если памятник скромный делать. А если черный мрамор, не хватит». — «На что мне мрамор? Что я, академик какой или писатель?»

Они жили мирно, спокойная, выдержанная бывшая учительница немецкого языка и говорливая, общительная бывшая крестьянка.

Иногда по воскресеньям навещал ее сын Василий с женой, приносили торт, пили посемейному чай. Андрюша забегал среди дня: «Бабань, дай два рубля». Она давала ему и два, и пять рублей, каждый раз намереваясь сообщить ему одну из важных жизненных заповедей. Но внук торопливо, сжевав у нее кусок пирога и похлебав щей, убежал по своим надобностям.

И вот однажды, гуляя в ближнем сквере, две старые женщины, не обремененные никакими заботами, набрали на группу таких же, как они, престарелых людей. Это выглядело странно — одни старушки и старички, по облику давно перешагнувшие пенсионный рубеж. Возле них не было ни детских колясок, ничего такого, что указывало бы смысл соборания.

Старушки переговаривались друг с другом, как знакомые, улыбались. Было всех человек двадцать — двадцать пять.

И тут раздался баян. Маленький щуплый старик, сидевший на скамейке, растянул мехи, привычно пробежал пальцами по кнопкам и заиграл веселую мелодию. В группе оживились, некоторые даже стали притопывать.

— Давай, Лексевна! — обратились старушки к одной из сидевших тут же товарок. Старушка была обычная, каких много.

Она сначала затянула потуже цветастый платок на голове, потом в такт музыке покрутила руками, повела плечом и запела:

Заиграй, моя гармошка,
Чтоб далеко услышать.
Нынче я пенсионерка,
Значит, можно отдыхать!

Голосок у нее оказался тонкий, но довольно громкий. Заметна была привычка «выступать»:

Я старушка боевая:
И станцую, и спою,
И товарищам хорошим
Расскажу судьбу свою.

Анна Тимофеевна потянула соседку за рукав:

- Пойдем поближе, послушаем.
- Неудобно. Нас там не знают.
- Ну и что? Поют же. Идем!

Певунья держалась просто, как среди своих, как когда-то на деревенских улицах во время вечерних гуляний. Только текст был нынешний:

Ничего, что я худая
И живу совсем одна.
Разгляди меня получше —
Я на многое годна!

Слушатели одобрительно кивали, понимающе улыбались. А она, ободренная вниманием, продолжала:

Я лазоревый цветочек
Приколю себе на грудь.
Полюби меня, дедочек,
Полюби когда-нибудь.

Никого не смущал текст. Он был всем близок. Он выражал их настроение, их желание быть с милым другом.

— А мы с Павлом Алексеевичем раньше в концертный зал ходили, — задумчиво произнесла Ксения Ивановна. — Он Рахманинова очень высоко ценил. Это композитор такой, — объяснила она Анне Тимофеевне. — Если бы муж меня теперь увидел!

«Здесь чем не концерт», — хотела ответить

Анна Тимофеевна, но тут поймала на себе взгляд седенького старичка. Он улыбнулся ей и мигнул левым глазом.

Вот с этой минуты у нее и возникло ощущение новой жизни.

«Да что я, господи, девка, что ли? — испуганно подумала она про себя. — Чего я краснею-то? Ну, мигнул старый козел, ну и что!»

Так она подумала, но внутри у нее затеплилось что-то давно-давно забытое. Она вспомнила своего Ивана Кузьмича, их короткую любовь, свое терпеливое ожидание пропавшего без вести на войне отца двоих детей (Машенька померла в детстве после глоточной). Вспомнила конюха Арсения, который, подвыпив, стучался к ней в окно: «Анна, слышь, выдь, чего скажу». Как она боялась этого конюха и как однажды шибанула его по лицу мокрой из таза простыней. Она вспомнила, что так и не дождалась неторопливой теплой любви, так и затерла в памяти всякую мысль о ней, понстратила свою женскую тоску в ежедневных и бесконечных стараниях...

Другая певица, посмешливее, вступила в кружок. У нее присвистывали искусственные зубы, зато рот красили два ровных жемчужных ряда:

Попаденут старички
Дальноторкие очки,
Чтобы видеть за версту
Нашу бабью красоту.

Старичков на всю компанию было четверо. Они держались рядом, зная себе цену. Частишки становились все забористее, откровеннее:

Я себе не крашу брови
И румяна не кладу.
Если кто меня полюбит,
Не покрашена сойду!

Если бы не октябрьский холодок, наши соседки еще потоптались бы, послушали бойкие припевки. Но пальцы в ногах уже замерзли, и на ветерке покраспели носы.

Дома Анна Тимофеевна заметила, как соседка примеряла перед зеркалом меховую накидку, от которой густо веяло нафталином.

— А что, годится! — одобрила Анна Тимофеевна, погладив мягкий мех рукою. — Тепло и богато. Прямо барыня-легранья.

— Что ей без толку лежать, этой горжетке, правда же? — сказала соседка, красуясь. — Мех от времени стареет и портится.

Анна Тимофеевна решила, что она тоже не лыком шита, и вытащила из-под кровати коробку с финскими сапожками «Аляска». Толстый белый мех устилал их нутро. Сапоги хранились «на праздник».

«Может, я и не доживу до него», — решила старушка и сунула ноги в мягкую теплую глубину...

В следующее воскресенье они снова пошли в сквер и не ошиблись: старик и старушки так же группировались вокруг знакомой скамейки. Не было только еще баяниста.

«Заболел, что ли? — подумала Анна Тимофеевна и пожалела старика: — Есть ли кому стакан воды подать? Небось тоже одинокий».

И она поняла: тут все одинокие. Тут все без жен и мужей. Без внуков, которые давно повзростали. Без детей, которые давно сами не молоды.

Время шло, музыки не было. Не выдержала шустрая певичья, запела-таки без сопровождения:

Что-то нынче мой миленок
На свиданье не идет,
Или нет уже силенок,
Или боты не найдет.

Люди повеселели, заулыбались. Но музыки явно не хватало. Не хватало ее воздействия, общего настроения.

На новеньких поглядывали с интересом. Меховая горжетка явно производила впечатление. Анна Тимофеевна старалась не замарать новых сапожек, отодвигалась, если кто теснил ее и мог ненароком наступить на черную замшу.

«И этого нет, козла-то, — подумала она о седеньком старичке. — Небось у телевизора сидит».

Но он не сидел у телевизора. Он давно уже стоял сбоку, собираясь заговорить с этой милостивой и, кажется, не злой старушкой. Он коротко кашлянул, и Анна Тимофеевна обернулась.

— А я думаю, вы это или другая? — сказал старичок. — Вы не в тридцать седьмой поликлинике лечитесь?

— Чего? — смутилась Анна Тимофеевна.

— Я говорю, лицо ваше знакомое.

— Да мы тут живем на Восьмой улице. Это моя соседка, — ответила Анна Тимофеевна. — Мы в одной квартире живем.

— А я один живу.

— Одному скучно.

— У меня кенарь есть. Была и канарей-

ка, только сдохла. Жука какого-то склёвала и сдохла.

— Жалко, — посочувствовала старушка.

— Жалко, петь перестал. Раньше тренькал целыми днями. Теперь молчит. Вот надо подружку ему. Мне один знакомый пообещал достать. Я на рынке глядел. Но там дорого просят.

— Вот как?

Так они познакомились. Поговорили. Довольные пошли по домам в разные стороны...

Под Новый год Ксения Ивановна заболела. Анна Тимофеевна взяла над ней шефство — вызывала врача, готовила еду. Наставала в кастрюльке целебный отвар из сухих трав и поила больную.

— Аннушка, — сказала соседка бледным голосом. — Когда я умру, возьмите себе этот столик на память.

— Господь с тобой, моя хорошая! Не надо мне твоего столика, — ласково отмахнулась добровольная сиделка. — Я ведь раньше тебя помру. Это я с виду крепкая, а внутри у меня все отжило.

— Вы хорошая женщина. Почему вас дети отселили? Я этого не понимаю.

— Чего тут понимать? У них своя жизнь. Мне там нет места. Я все сделала, что могла. Пускай живут, как знают. Лишь бы здоровые были. Вот Андрюша женится, ребенка заведет, я и понадоблюсь.

— Все же нехорошо.

— Хорошо. Дождаться бы только. Люблю я маленьких...

В марте они снова стали выходить в сквер. Соседка немного прихрамывала, у нее было под коленной чашечкой, иногда при ходьбе щелкало. Она стыдилась этого звука. Но Анна Тимофеевна уговаривала ее не обращать внимания.

Знакомый старичок, завидев их, обрадованно кивал головой.

Не все из участников прежних сходок появлялись. Но, видно, слух о веселом пятачке разнесся далеко по городскому району, и сюда стекались новые искатели простодушного общения, незатейливых шуток, неожиданных знакомств.

Милые, милые старики и старушки, много ли вам осталось? Очень скоро вечность сдует вас как одуванчики в поле, и станете вы прах. Крепкое, самоуверенное юношество, торопясь к своим вершинам, удивленно оглянется на вашу стайку и усмехнется допотопной, «сердешной» припевке:

Ты играй, играй, гармонь,
Сердце нежное затронь.
Пусть оно не мучится,
А любить научится.

Придет серый еж

Николай Петрович сидел на веранде и сторожил скворечник: ему хотелось убедиться, что в новом доме кто-то поселился. Но птицы не появлялись. Или он плохо видел, потому что опять надел не те очки, или пернатым не приглянулось жилище.

Май пришел теплый, солнечный. Цветы распускались в обычном порядке — пролески, одуванчики, незабудки. Уже в темном углу под развесистой яблоней проклюнулся и забелел ландыш. Все ходили его нюхать и не срывали, зная, что цветку для размножения полагалось увядать на корню.

Николай Петрович вдыхал утренние сладкие запахи цветов, лесной зелени, слушал шелканье, щебетанье, свиристенье хлопотливых птиц и ловил себя на мысли, что это великолепно он переживал уже много раз в этом саду, на этой веранде...

Когда строили дачу, ему только-только перевалило за сорок. Издательство выпустило его книгу скромным тиражом, потому что хотя и написана она была доходчиво, но характер имела строго научный. Гонорара почти хватило на строительство. Они с Галей были счастливы. Наконец-то можно не приткаться к чужим дачным углам, не метаться каждую весну в поисках летнего пристанища на природе. У них подрастала дочь — бледное дитя города. Маша бегала по лужайке, трогала молодые деревца, с почтением оглядывала широкий, в два обхвата дуб и спрашивала: «Это тоже наше?»

У нее быстро завелись товарищи из соседних дач. Миша Каретников, не сходя с велосипеда и возвышаясь над забором, коротко свистел в два пальца, зовя ее в свои удалые загадочные игры. Галя выговорила ему однажды, что свистеть неприлично, и он стал терпеливо пробираться к крыльцу сквозь раз-

росшиеся кусты пионов и флоксов, оставляя велосипед у калитки. Его брюки темпели от росы, сбитой с цветов. На дочь Галя тоже разводила руками: девочка, а вечно с мальчиками бегают. Она бы и настаивала, чтобы дочь вместо ковбойки и вечных шорт надевала сарафан с крылышками. Но, видя, как крепло, наливалось жизнью ее чадушко, успокаивалась и не лезла в ребячью жизнь.

Николая Петровича оценили, предложили кафедру в институте. Но администраторство его не прельщало. Была другая цель. Она требовала размеренного распорядка, библиотечного покоя, ясной головы и свободного времени.

Ему устроили кабинет в комнате с окном в сиреневый куст. Он распахивал створки, ветка упруго вталкивалась вовнутрь и ложилась на подоконник. «Господи, милая, — думал Николай Петрович. — Ты так и просишься, чтобы тебя сломали, глупая, сумасшедшая сирень!»

Однажды начались неприятности. Сначала кто-то в мелком журнальчике мимоходом обронил, что «воззрения профессора Н. П. Семина на психологию древних славян страдают узостью». Эту мысль подхватил другой критик, нашел спорное место в книге «уважаемого исследователя» и уделил ей треть статьи в толстом журнале. Николай Петрович стал популярен. Будущие кандидаты наук, боевитые и устремленные, искали его расположения. Он не хотел словесных боев, суеты. Но с молодыми был любезен...

Маша заканчивала школу и не знала, кем быть. «Оболтус» Миша засел за английский:

родители прочили его в престижный институт. «Кем бы ты ни стала, — говорила Галя, обнимая дочь, — главное, будь счастлива и здорова». Маша поступила в Менделеевский, благо школа ее была с химическим уклоном.

...«Прогрессивно мыслишь! — одобрил ее Миша. — На химию сейчас большая ставка». Они сидели в Парке культуры, ели мороженое — праздновали свои достижения. Он впервые увидел ее в легком нарядном платье, отметил «по-взрослому» заколотые на затылке волосы и понял, что хочется поцеловать ее. Но не знал, как это сделать и где: кругом люди, голоса, движение.

На улицах долго не темнело. Они ходили и ходили по скверам, по переулкам. Наконец, где-то в центре города в чужом подъезде обнялись и стояли, ничего не говоря, только ощущая друг друга.

...«Дочь выросла!» — очнулся Николай Петрович, увидя однажды, как, ставший своим, повзрослевший юноша шел к электричке с их желтой хозяйственной сумкой, а Маша оглядывалась, виновато улыбаясь, махала букетом ромашек, прощаясь с родителями до следующего выходного. Николай Петрович затосковал, не зная отчего. Завершался пятилетний его труд: последняя часть исследования лежала на столе — стопка мелко исписанных страниц. «Дочь выросла, и скоро я стану дедом».

«А знаете, как древние славяне обходились со стариками?» — сказал он за воскресным обедом.

Все привыкли к его застольным беседам.

Информация лилась из него потоком. Ясная память, трезвый ум, весь изученный материал делали из него занятого рассказчика.

«С почтением?» — улыбнулась дочь.

«Обессилевшего от времени старика, не пригодного для работы, избавляясь от лишнего рта, дружно забрасывали камнями. Пока не помрет».

«Дикость какая», — прокомментировала Маша.

«Не волнуйся, Маня, это в древности было — все равно что никогда», — Миша выразительно посмотрел на тестя: зачем же так!

«Действительно, я что-то завелся, — подумал Николай Петрович. — Дочь на последнем месяце. Они скоро уедут. Кто у них родится?»...

Николай Петрович вздрогнул: какая-то птичка влетела в темное отверстие скворечника. «Синица? Трясогузка?» — спросил он себя и стал сторожить дальше. Но от натуги в глазах рябило, и он вытащил из кармана платок вытереть слезы.

...У Маши с Мишей родилась Катя с маленьким розовым личиком. Николай Петрович вдруг понял, зачем он столько лет прожил на свете. Затем, чтобы слышать за стеной суетливых женщин («Мам, где у нас новые простынки?», «Миша, подогрей бутылочку!»), затем, чтобы ему доверяли поддерживать крохотное тельце в байковом одеяле. И что-

бы однажды маленький голос произнес: «Дедя!»

Давно, когда он еще не носил очков, внучка вбежала в комнату и испуганно зашептала: «Дедушка, идем скорее! Оно там живое и шуршит. Такое серое. Возле сарая».

Он взял девочку за руку и быстро пошел. В сумерках все сливалось. Они едва различили маленький холмик. При их приближении холмик шевельнулся и зафыркал. Это был еж.

«Не бойся, деточка, он, наверное, пришел подкормиться к нашей компостной куче. Мы его не станем трогать».

«Настоящий еж, — замороженно протянула внучка. — Живой. Из леса».

«Сходи к бабушке, возьми кружку молока и блюдце. Нальем ему и уйдем. Он без нас поест».

Девочка долго не могла успокоиться. Подходила к темному окну, словно желая увидеть, как зверек пьет их молоко.

«Нужно было его в дом взять, — говорила она. — У нас тепло. Мы бы ему постельку сделали».

«Нельзя отнимать его от леса. Там его дом. Там ему хорошо. У людей он может погибнуть».

«Как? Почему? — удивлялся ребенок. — Разве мы плохие?»

«Нет, конечно. Но мы слишком сильные и можем причинить ему вред. — Дед обнял внучку, прижал к себе и услышал, как стучит ее возбужденное сердце. — Знаешь, какой великаншей ты показалась этому ежу? Ого! Вот он и зафыркал, чтобы напугать тебя. Чтобы

ты не нашла его деток и не забрала с собой».

«У него есть детки? Где?»

«Где-нибудь в укромном месте наверняка есть. Видела, какой он большой? У таких больших обязательно детки бывают».

«Жалко, что мы их не видели».

«Маленьких надо охранять, чтобы их никто не обидел».

«Да, — согласилась девочка. — Мы им всегда молока наливать будем. Пусть пьют».

Она еще долго лопотала про зверюшек. И, укладываясь на ночь, рассуждала: «Если какой-нибудь маленький ежик потеряется, мы его найдем и спасем от волка. Он у нас поживет денька три, а потом придет за ним еж-папа, и мы ему отдадим. Маленькие ежи колючие, как ты думаешь, бабушка?»

«Думаю, у них мягкие колючки».

«Значит, их можно потрогать».

«Похожа на трясогузку, — всматриваясь в птицу, думал Николай Петрович. — Значит, приглянулся ей наш скворечник. Сегодня Катя приедет. Расскажу ей».

Внучка приехала поздно вечером, к деду не зашла, а закрылась в маленькой комнате. Ночью он услышал голоса и приглушенные рыдания. Николай Петрович поднялся, вышел и столкнулся с женой. Та отстранила его:

— Ради бога, не входи. Она ополоумела.

— Да в чем дело?

— Потом. Ложись!

Утром жена сказала ему, что Арсений Малышев жениться на Кате не собирается.

— Ну и что? — спросил Николай Петрович.

— Как что! Ведь она его любит. Уже два года.

— Того рыжего, маленького? — удивился он.

— Представь себе, того рыжего, маленького. И он собирался жениться.

— Так в чем дело?

— Это ты виноват! — внезапно возникла в дверях Катя с красными щеками и опухшими веками. — Ты не соизволил ему помочь. Отказал в ничтожном деле!

— Что ты такое говоришь, девочка моя? Ты путаешь одно с другим. Какая связь? — Николай Петрович вспомнил: — Да, я сказал ему, что рекомендовать его Сабурову не считаю возможным. Ну и что?

— Ты мог сделать то, о чем тебя просили? Мог?

— Сабуров не отказал бы мне, надеюсь. Но пойми...

— Ты такой принципиальный, такой благородный, — перебила внучка. — Тебя попросили, а ты!

— Значит, из-за меня ты теряешь ...друга? Выходит, я виноват? — Николаю Петровичу захотелось обнять эти дрожащие плечи, успокоить гневные слезы, но он побоялся еще раз услышать упрек.

Он отвернулся и ушел к себе.

Где-то на столе был листок с адресом и полным именем этого рыжего дельца... Он тогда как бы случайно оторвался от молодеж-

ной компании, пившей на веранде чай, и тихо, но решительно постучался к Николаю Петровичу. Если бы Николай Петрович знал, что у него с Катей, оказывается, роман, он бы иначе взглянул на этого паренька. В науке таких шустрых предостаточно. Одним больше, одним меньше — какая разница. Лишь бы ей было с ним хорошо. «Но это же странно! Как ей может быть хорошо... с этим, — Николай Петрович поморщился. — Хотел рассказать про скворца, а ее уже другое занимает. Я старый пень! Чего мне стоило позвонить Сабурову, замолвить слово? Девочка убитая, а я о материях рассуждаю». Среди бумаг на столе он разыскал чужеродный листок с размашистым почерком: «Улица Можайская, пять. Квартира семнадцать». Телефона не было.

Николай Петрович надел серый плащ, взял зонт и пошел на станцию. Электричкой до города езды было полчаса. Столько же он ехал в метро.

Оказавшись в новом квартале среди одинаковых многоэтажных домов, он растерялся. Но табличка на ближайшем доме указывала, что Можайская улица и есть та, на которой он стоит.

Лифт поднялся быстро, бесшумно. Лестничная площадка пахла жареным луком. На звонок открыла девушка в мужском банном халате и тапочках на босу ногу.

— Сеня, вылезай! — постучала она в дверь ванной. — К тебе пришли. Вы проходите, садитесь, — предложила она Николаю Петровичу.

Рыжий с зубной щеткой во рту выглянул из ванной и удивленно округлил глаза:

— Жаже, — машинально поздоровался он, не вынув щетки изо рта, и снова скрылся. Спустя три минуты он стоял перед Николаем Петровичем, все еще удивляясь неожиданному визиту.

— Я должен извиниться, что пришел без предупреждения. Но позвонить я не мог. У вас, кажется, нет телефона. — Николай Петрович не знал, с чего начать, да и что, собственно, говорить этому человеку. Его сковывало присутствие девушки в халате.

— Да вы без церемоний! — предложила она гостю. — Кофе с нами будете пить?

— Жанна, это профессор Семин. Пойди на кухню, — Рыжему она тоже мешала сейчас.

— Ну и что же, что профессор! Я только предложила кофе.

— Благодарю. Мне нельзя кофе. Я хотел сказать вам, — он взглянул на рыжего прямо. — У нас был разговор недели три назад. Помните, вы просили рекомендации? Вы мне оставили свой адрес.

— Я у вас ничего не просил, — перебил его рыжий. — Мне казалось, для вас было бы естественно поддержать молодого человека. Старшие должны помогать молодым. Тем более, вам это ничего не стоило. Но вы же не захотели.

— Я не знал. Я ничего не знал... Катя очень расстроена. Она мучается.

— Какая такая Катя? — спросила девушка с интересом.

— Иди, пожалуйста, на кухню, — снова приказал ей рыжий. — Я потом все тебе объясню.

— Нет уж, я тут послушаю.

— Сказано, выйди!

— Не ори на меня. Это мой дом. Захочу, пойду. Захочу, здесь сидеть буду, понял? — Она демонстративно села на диван, закинула ногу на ногу, небрежно укрыв полой халата крутые белые колени.

— Катя сказала, — Николай Петрович пересилил себя. — Вы хотели предложить ей руку.

— Чего-чего? Это как? — встрепенулась девушка. — Жениться, что ли? — Она обратилась к рыжему: — Что за новости? Что этот дедуля говорит?

— Помолчи! — одернул ее рыжий и вызывающе глянул на старика. — В общем, если хотите знать, она сама на мне повисла. Да! Время ее пришло, понимаете? А тут я оказался поблизости. Она и решила, что я для нее подходящий. Господи, что она мне говорила, если бы вы только слышали!

— Интересно, что она тебе говорила?

— Она чокнутая, ваша Катя, — не обращая внимания на угрожающую интонацию подруги, продолжал рыжий. — Как последняя... только бы я с ней был. Понимаете? Она ненормальная.

— У вас поворачивается язык говорить такое, — Николая Петровича кинуло в жар. — Вы приходили к нам, разговаривали о поэзии, о современном искусстве. Вы очень красноречиво говорили, я помню... что-то такое о Рильке, о немецком романтизме. Она решила, что вы очень умны. В ее понятии ум и человеколюбие равнозначны. Как же вы можете так говорить? Вы отдаете себе отчет?

— Давайте без назиданий! Я прекрасно

знаю, что говорю. Вам нужен зять? Ищите его в другом месте. Мне до вашей цеврастеннички дела нет.

— Ну, дела! — усмехнулась девушка. — Профессорскую внучку замуж не берут. Небось в детстве зернистой икрой вскармливали, лелеяли бедную. Вот и вырастили деточку: подайте ей все на блюдечке. И жениха тоже. Ну, дела!

— Вы... — Николай Петрович запнулся. — Это пошло, что вы говорите.

— Неужели? Значит, в точку попала!

— Жанна, уймись! — рыжий положил руку ей на плечо и, видно, крепко сжал.

— Щас двину по сусалам, будешь знать, как за профессорскими дочками таскаться за моей спиной! И нечего на меня так вылупляться. Хорош тоже!

Они стали браниться друг с другом. И было видно, что это у них не впервые.

«Глупый, глупый старый дурак! Куда меня понесло? Что я могу? Я их не понимаю. Они марают друг друга. Мне не ровняться с ними. Но... почему Катя? Что она в нем нашла? Зачем он ей? Эта девица с грязными волосами...»

Николай Петрович шел по улице неизвестно куда — подальше от того дома. Горло перехватило, глаза плохо видели. Улица была прямая и пустая — ни скамейки, ни парапета, чтобы присесть или опереться.

В метро ему сделалось душно.

Перебирая руками по стене, он добрал до скамейки в конце зала. Но скамейка вся была

занята. Он подождал. И когда подошел поезд, скамья освободилась. Он сел, расстегнул ворот, задержал дыхание, чтобы переждать колющую боль в груди.

— Не подскажите, как на Колхозную попасть? — спросил его человек с тяжелым рюкзаком за плечами.

Николай Петрович поднял на него глаза, открыл рот, но, не сумев пересилить боль, отрицательно покачал головой.

Люди торопливо входили и выходили из вагонов, толпились рядом, задевали сидящего сумками, иногда извинялись, и никто не обращал внимания на его бледное перекошенное лицо.

Он вспомнил маленькую встревоженную Катю с птичьей скорлупкой в руках. «Он погиб?» — спрашивала она о птенчике. Дед успокоил ее, сказал, что птенец вывелся, а скорлупка выпала из гнезда. Ему не хотелось огорчать внучку, он догадывался о печальной участи малыша — уж больно активно кружила над лесом пара черных ворон, плотоядно каркая на всю округу.

— Где ты был? Мы обыскались. Ты ездил в город? Что с тобою, Коля?

Галина Николаевна встретила его уже в сумерках.

Он попросил чаю с бородинским хлебом.

Он пил чай и прислушивался.

— Что, Катя уехала?

— Да, — ответила жена. — У них какая-то экскурсия или поход. Я одобрила. Пусть развеемся.

— Денег дала?

— Дала немного. Маша с Мишей ей прислали тоже зачем-то. Кажется, для этой экскурсии. Коля, я прошу, не бери в голову. У девочки будут еще увлечения... это естественно. Она впечатлительная. В этом все дело.

— Дело в том, что она не разбирается в людях. Ты женщина, ты не смогла объяснить ей чего-то необходимого... ну, я не знаю, как сказать.

— Бесполезно.

— Она, неопытна.

— Ей опыт будет — шрамы и ссадины.

— Без этого!

— Иначе не выйдет. Это участь всех.

— Ты сегодня жесткая. Я давно тебя не помню такой.

— А какой ты меня вообще помнишь?

— Помню в серой шубке с чемоданом в руках, когда ты уходила от меня к этому летчику.

— Ни к кому я от тебя не уходила.

— Как же, я помню.

— Тебе говорила, что уйду к другому, а сама ночевала у мамы, чтобы тебя помучить.

— Я был спокоен. Мария Тимофеевна мне звонила и все рассказывала. И про летчика тоже.

— Ничего ты не знаешь! У меня был поклонник — директор загородного ресторана. Он был готов для меня на все.

— И ты столько лет таилась, несчастная?

— Я счастливая. У меня ты.

— Только и всего?

— С меня достаточно.

Через неделю от Кати пришла открытка с видом старинного русского города Кострома. На обороте было написано: «Одна глупая дура любит красота и просит прощения у старенького ежика».

— Как ты думаешь, — спросил Николай Петрович у жены. — Она там винишка не испробовала?

— Пусть испробует! — пригрозила жена. — Я ей косицы-то надеру!

Белая лошадь

Марк Андреевич позвонил сразу после окончания телепрограммы «Время»:

— Ну, Лизонька, поздравляю! На фестиваль едешь ты. Лисовская сама отказалась. Ей светит Австралия. Так что Париж — твой.

За минуту до звонка Лиза уже почувствовала, что должна это услышать. Она даже не удивилась своей интуиции. Напряженное ожидание в течение последних дней утомило ее, и она уже готова была ко всему. «В конце концов о чем речь? Ну не поеду на музыкальный фестиваль. Ну не выступлю, не получу приза. Жизнь на этом не остановится. Хуже играть не стану». Она уговаривала себя, умирала фантазию. Но в глубине сознания таилась надежда: «Поеду. Выступлю. Покажу класс!»

И вот — разрешилось. Теперь все зависит от нее самой.

— Марк Андреевич, дорогой, если бы не вы,

я бы никогда ничего не достигла. Вы самый замечательный педагог на свете. Вы больше. Вы... — она перевела дыхание.

— Да уж ладно, — прервал ее наставник. — Ты можешь. Я в тебя верю и все сделаю, чтобы ты не застряла на полпути.

— Вы столько для меня сделали, я даже не знаю, чем смогу вас отблагодарить.

— Фу, какие речи-то! Привезешь мне «Жилет», а то мой уже рассыпается. Это бритва безопасная, — пояснил он.

— И «Жилет», и все что скажете. С огромным удовольствием.

— Ну и хорошо. Ладно. Это все не главное. Сейчас от тебя знаешь, что нужно?

— Я вас внимательно слушаю.

— Сейчас берись за Бартока. Вторая часть у тебя слабовата. А в ней как раз смысловой узел. Самое эффектное место. Осилишь — твоя победа. Сейчас соберись. Сосредоточься на главном. Все остальное, разные там домашние дела и прочее в сторону. Отбрось. Забудь. Ты и музыка. Больше ничего. Поняла?

— Да. Все поняла. Бартока я даже во сне играю.

— Молодец, — одобрил Марк Андреевич и сделал паузу. — Ну, а как там Никита?

Лиза ждала вопроса, понимала, что наличие Никиты с некоторых пор нарушило идеальное сплочение учителя и ученицы: послушная девочка несколько недель тому назад обрела нового покровителя — никому ничего не сказав, вдруг выскочила замуж и стала неприкосновенна. Птенец, на которого можно было прикрикнуть или просто дать подзатыльник, вдруг стал персоной. Марк Андреевич

принял новость почти равнодушно, но что-то в нем изменилось: он перестал водить ее в кафе на Арбате, где за чашкой кофе рассказывал ей о великих музыкантах прошлого.

— Никита в Озерках. Принимает новую партию скаковых лошадей.

— Как! — деланно возмущился учитель. — Еще не смолкли свадебные гимны, а он уже уехал от молодой жены?

— Всего на две недельки, — уточнила Лиза. — Зато можно заниматься сколько хочешь, ничто не отвлекает.

— Ты права, семейная жизнь много сил отнимает.

Лизе сделалось неловко, намек ей показался двусмысленным. Ее вообще коробило от каких-либо разговоров о «новом жизненном этапе». Одно только выражение «интимные взаимоотношения» кидало ее в жар. Когда бабушка Вера выложила перед ней свадебный подарок, ослепительно розовый комплект постельного белья с вышивкой в виде белых лилий, внучка пришла в такое бешенство, что бедная старушка чуть не выкинула сверток в мусоропровод. «Ей-богу, она у нас диковатая», — решили женщины, мама и бабушка, и стали осторожнее с невестой. Теперь же надо было сдержаться, пропустить мимо ушей. Как-никак — руководитель. Помогает ей, «проталкивает» сквозь густую толпу соперников.

— Я буду заниматься, Марк Андреевич. Я буду очень стараться.

— Ну вот и замечательно.

Лиза положила трубку, посмотрела на себя в зеркало, оценивающе прищурилась

и сказала: «Ну, Никитушка, теперь моя очередь блеснуть!»

...С Никитой они познакомились, как ни странно, прямо на улице. Выйдя из института, она решила зайти в булочную на углу и там съесть слойку с повидлом, потому что институтский буфет уже закрылся, а под ложечкой сосало.

Она шла и ни о чем не думала. В голове еще гудело, звенело от услышанной и проигранной за день музыки. Музыкальные фразы роились и лезли одна на другую — не было сил избавиться от них.

— Девушка, а девушка! Что это у вас такое большое? — трое парней шли рядом и явно желали повеселиться.

— Эдик, она нас игнорирует, — сказал один.

— Она язык проглотила, — сказал другой. — Девушка, покажи нам язык, а то мы обидимся.

— Ну вас! — отмахнулась Лиза и прибавила шаг, но громоздкая виолончель в кожаном футляре сковывала движение.

Тогда один из парней ухватился обеими руками за гриф и потянул на себя:

— Куда же мы так торопимся, а? Даже не поговорим.

Никита шел навстречу.

Он издали оценил ситуацию и, поравнявшись с группой, сказал:

— Отойдите от девочки!

— А ты кто такой, мы тебя звали? — вызывающе спросил один.

— Я мастер спорта, — ответил Никита.

— По стеклеточным шашкам? — не отпус-

кая Лизу, усмехнулся один из парней. Он был на полголовы выше Никиты. — Ты нас посмешил.

— Ну топай, топай! — предложил первый. — Тебя не звали.

Никита почти дружелюбно обвел взглядом троих парней.

— Я предупредил, — сказал он и молниеносным приемом раскидал наглицов в разные стороны. Лиза каким-то чудом осталась не задета.

— Не волнуйтесь, они больше не опасны, — сказал Никита девушке и улыбнулся хорошей улыбкой.

Повергнутые «герои» поднимались с тротуара, отряхивали испачканную одежду, сердито щурились на сильнейшего.

— Хулиган! — крикнул Никите один из приятелей, у которого сильно пострадала белая заграничная курточка. — Перед девкой выставляется!

— Ты, я вижу, непонятливый, — обернулся к нему Никита. — Советую подобрать сопли и тихо уйти, иначе...

— Не мечи икры, Эдик, — остановил приятеля тот, что на полголовы выше. — Ты видишь, у товарища интеллект в кулаках. Пусть резвится.

Они двинулись вспять, изредка оборачиваясь и что-то недовольно обсуждая между собой.

— Вам далеко? — спросил Никита у Лизы. — Давайте провожу.

— Мне рядом, до троллейбуса, — ответила она и согласилась: — Проводите. — О булочной она забыла.

Он взял у нее из рук инструмент, понес к остановке.

— Вы смелый, — решила заговорить Лиза. — Один на троих! Я про такие случаи только в книжках читала. Спасибо вам. Вы герой.

— Я мужчина. Обязан защищать слабых, а шпану учить.

На остановке он спросил:

— Вы на этом играете?

— Играю.

— Уважаю искусство.

Он сказал это так просто и в то же время уважительно, что Лиза представила его вдруг в концертном зале: «Он, видно, из тех, кто дольше всех хлопает артистам и последний покидает свой ряд».

— А там, — он показал в сторону института, — вы учитесь?

— Учусь.

Подошел троллейбус.

— Ваш? — спросил он.

— Мой.

В заднее стекло, пока троллейбус удалялся, было видно, как он стоял и смотрел вслед.

«Странный человек, — думала про него Лиза. — Занятный. Спортсмен». Дома ей стало скучно, и она поняла отчего: ее защитник остался на остановке, и больше она его не увидит.

В ее жизни еще никогда не было сильного, доброго друга. Были приятели, с которыми хорошо было подурачиться. И только. Ничего серьезного, настоящего. Был, правда, Афанасий — первный, бледнолицый, любивший страстно вещать о своей принадлежности к духов-

ным сферам», о своем «безумном служении гармонии». Когда он вставал из-за рояля, отыграв любимые багатели, с него текло ручьями, так он усердствовал.

Однажды на вечеринке у Лисовской, танцующая с Лизой под магнитофон, то есть топчась на месте под тягучую мелодию допотопного блюза, он стал губами ловить ее пушистые пряди выбившихся из пучка волос, полагая, наверное, что это ей нравится.

«Ах, Лиза!» — шептал он и закрывал глаза.

Это было ново, и Лиза ждала, что последует дальше.

«Очнись, Афанасий! — окликала Лисовская. — Иди лучше пирог разрежь».

«Я не умею».

«А девушек завлекать умеешь? Ах ты, шалун нехороший».

Лиза колебалась: принимать ухаживания Афанасия или нет. У нее еще никогда не было кавалера. Никогда ей никто ничего не шептал на ухо, не сжимал горячими пальцами запястья, не намекал на нечто неиспытанное. Но ее смущало всеобщее внимание и несвежая сорочка Афанасия. «Все равно в моей жизни выбора нет, — уговаривала она себя. — Красавцы только в кино бывают». В их группе было шесть девушек, а юношей только трое.

Лисовская дурачилась, делала вид, что ревнует Афанасия к Лизе, но все давно уже знали, что нужен ей другой. Тот, другой, раз в неделю подъезжал к институту на светлой длинной автомашине, притормаживал у самого выхода и легко поднимался — стройный, элегантный — на второй этаж в класс композиции.

Лиза как-то раз повстречалась с ним на лестнице лицом к лицу, и он показался ей хитрым.

Марк Андреевич сказал о нем «талантливый делец», но Лиза не поняла — это был укор или одобрение.

«Делец» написал историческую оперу, две симфонии, четыре концерта и много всякого. Теперь он успешно сотрудничал с кино. Его музыка звучала везде. Ни один солидный концерт не обходился без его сочинений.

И Лисовская старалась ему понравиться. Это оказалось не трудно: она попросила объяснить ей одно место в его новой симфонии, так как эта тема ее «потрясла». Тот благожелательно улыбнулся девушке, скромно отговорился двумя-тремя фразами и потом долго слушал ее туманно-изысканные речения о том, как она понимает его творчество.

Они бы много и часто говорили о его достижениях в искусстве, но жизнь известного музыканта была регламентирована, заполнена множеством обязательств и дел. А главное, что бы он ни делал, где бы ни находился, над его душою витал настороженный образ маленькой, строгой, вездесущей жены.

Лисовская тосковала, мрачнела, вспоминая кумира. И вымещала тоску на Афанасии, словно он был в чем-то виноват.

«Афанасий, любовь подтачивает силы!» — кричала она через весь стол и смеялась.

«Дура мохнатая! — сердилась про себя Лиза. — Чего цепляется?»

Афанасий довольно сопел и заговорщицки поглядывал на Лизу. Месяца два тянулась

«эта каштель». Афанасий вздыхал, закатывал глаза и вставал из-за инструмента еще более мокрым.

И тут этот спортсмен. Ловкий. Учтивый. «Плохо, что он остался, а я уехала», — откровенно жалела Лиза и пыталась вспомнить его лицо, но не могла. Уж больно коротка была встреча.

Со времени того эпизода прошел чуть ли не месяц.

И вдруг они встретились вновь.

Он прохаживался возле ограды, явно поджидая. И, завидев ее, пошел навстречу.

«Я хотел увидеть, как вы носите эту штучковину, — сказал он, указывая на виолончель. — И так каждый день?»

«Нет, только четыре раза в неделю», — ответила Лиза и почувствовала, что волнуется.

«Вы позволите вам помочь?» — спросил он, берясь за ручку футляра.

«Помогите», — согласилась Лиза.

Прикосновение его руки родило в ней горячую волну мурашек.

«Это вам», — сказал он, подавая ей маленькую металлическую вещичку.

«Что это?»

«Брелок. Называется камертон. Говорят, он как настоящий».

Лиза рассмотрела миниатюрный камертончик, поднесла к уху, щелкнула по нему пальцем и услышала тихий, но чистый точный звук.

«Прелесть какая! — оценила Лиза. — Откуда?»

«Из города Парижу», — ответил он, явно

не собираясь этим вызывать у девушки восхищение.

С этого дня все интересное в жизни, все хорошее и милое стало называться для нее новым именем.

«Никита!» — радостно вспоминала она и входила в дом. «Никитушка!» — красовалась она перед зеркалом. Ника... — шептала она, засыпая. — Так вот чем ты занимаешься. Лошадьми!»

Как-то Афанасий подошел к ней в вестибюле:

«Кто это с таким крестьянским лицом? Он к тебе повадился. Ты его не боишься?»

Лиза усмехнулась и показала Афанасию язык.

«Девчонка! Ты играешь с огнем. Чем это все кончится?»

«Лошадьми!» — лукаво ответила Лиза и сама себя не поняла.

О себе Никита сообщал скупое: родился в деревне, отец — колхозный конюх — привил навыки по уходу за лошадьми. Увлечение верховой ездой. Участие в межрайонных соревнованиях. Титул чемпиона. Учеба в столице. На соревновании в Шотландии гнедая Фея сломала позвоночник по его вине, а строптивый Цезарь сбросил его, зацепившись за барьер. Травма. Долгое нудное лечение. Теперь тренерская работа.

«А у нас в пятницу концерт. Я играю. Приходите, — предложила однажды Лиза. — Что-то вроде зачета по мастерству».

В пятницу он пришел в новом синем костюме, белой рубашке и с тремя алыми розами. Коридорами Лиза провела его в концерт-

ный зал, примыкавший к институту, усадила в амфитеатре — благо свободных мест было много.

Марк Андреевич заметил ее волнение и удивился: «Что ты, голубушка? Это еще не госэкзамены. Побереги нервы, успокойся».

Мешали пышные рукава новой блузки, которую бабушка с такой старательностью утюжила накануне. Вообще все одеяние вдруг показалось Лизе дурацким. Она была собой недовольна.

Зато Никита вышел к ней в перерыве, лучась и улыбаясь, говоря, что ему понравился концерт. А она, Лиза, понравилась больше всех. В гардеробе он подал ей пальто, помогая одеться, и на выходе распахнул дверь, пропуская впереди себя.

На улице она быстро озябла и немножко дрожала, то ли от холода, то ли предчувствуя разговор.

Никита сказал: «Я знал, что у меня жена будет музыкальная. Представлял себе, как она сидит в длинном платье за роялем и играет что-то красивое, а в открытое окно дует ветер и полощет занавеску. — Он закусил губу и добавил: — Хотя виолончель тоже звучит».

«Я и на рояле умею», — сказала Лиза.

«Тогда какие могут быть сомнения! — весело воскликнул Никита. — Я тебе правлюсь?»

Лиза растеряно улыбнулась.

«Да ты никак замерзла? — спохватился Никита. — А ну давай шевелиться».

Дома им открыла бабушка Лизы. Быстро

оглядела Никиту, одобрительно проследила, как он вытер ноги, ловко разделся, помог Лизе.

«На кухню пожалуйста, — пригласила бабушка. — Там у меня блинчики с творогом разогреты. Подкрепитесь».

Никита не забыл вымыть руки. За стол сел охотно. Вообще держался легко, как будто был здесь не впервые. Ел он аккуратно и вкусно. Бабушке это понравилось.

Лиза отогрелась. В домашнем свитере было покойно. Она глядела на Никиту и думала: «Возможно ли, чтобы он был моим мужем? Как странно».

«А я думала, вы учитесь вместе, — допытывалась бабушка у гостя. — Вот и гляжу, что вроде как вы мне не знакомый».

Никита так ей и ответил, что Лизу увидел па улице и что она ему понравилась.

Бабушке такая прямота тоже понравилась. Но от этого ее интерес к гостю усилился:

«Так вы, значит, один живете?»

«Родители в деревне».

«И не женаты?»

Лиза вспыхнула:

«Ну, бабушка!»

«Разве я что плохое спрашиваю?»

«Я был женат, — сказал Никита. — Но очень скоро развелся».

«Значит, детей нету?» — не унималась бабушка.

«Детей нет».

«Ну вот и ладно», — вздохнула бабушка и поставила на стол чай.

В марте Лиза переехала в однокомнатную квартиру Никиты. Там уже стояло новенькое пианино — подарок жене. Лиза погладила полированную крышку, отвернула ее и пробежала по холодным клавишам, они сияли стандартной пластмассой, не то что матовые желтые костяшки их старенького «Беккера», который остался у мамы с бабушкой.

«Может, лучше было рояль? — уловил ее смущение Никита. — Только скажи».

«Нет-нет, что ты!» — успокоила его Лиза.

«И все-таки я усажу тебя когда-нибудь за белый рояль и ты сыграешь мне Рахманинова. В длинном платье», — сказал он и обнял жену...

Прошло два месяца. Никита в Озерках. Лиза штудирует Бартока. Давно уже не раздаются шальные ночные звонки, женские голоса не требуют к телефону Никиту. Одна из звонивших так однажды и спросила: «Какая такая жена? Вы шутите?» Лиза не нашлась что ответить и положила трубку.

«Сколько же их тут перебывало?» — думала она о незнакомках и искала следы их присутствия в квартире. Но ничего не находила. Лишь однажды Никита оплошал. Заметив, как жена моет посуду и потом смазывает кремом руки, сказал: «Я же тебе купил резиновые перчатки. Почему не надеваешь?» Лиза впервые слышала о каких-то перчатках. Пристально поглядев на мужа, она спросила: «Ты уверен, что они предназначались мне?» Никита смущенно пожал плечами: «Запомнит. Прости».

...Барток ее извел. К этому композитору она приучала себя вот уже который год. Марк Андреевич настаивал. Говорил: «Темная ты балда! Можно ли его не понимать?»—«Наверное, можно», — смело отвечала ученица и спокойно выдерживала пристальный взгляд педагога.

Что-то происходило с Лизой. Все ее нервировало.

Звонила мама, укоряла дочь, что совсем забыла дорогу домой. «Конечно, тебе теперь не до нас. У тебя своя жизнь. Но разве мы тебе чужие?» Бесспорность этих слов тоже вызывала у Лизы глухое раздражение.

Не выдержала бабушка. Принесла рыбный пирог: «Твой любимый. Поешь. А то воп от занятый как глаза запали. Совсем поухдела!»

Лиза разломилла еще теплый, обернутый в два полотенца пахучий пирог и поняла, что ей его совершенно не хочется. Более того, он ей противен. Но бабушка с таким умиленным глядела на внучку, что Лиза втокнула в себя кусок. Через час ее вытошнило. К счастью, бабушка этого не видела.

Ее угнетали запахи.

Она стала усердно мыть стены в ванной, терла линолеум в кухне, регулярно ополаскивала помойное ведро. В лифте она затыкала нос, чтобы не чують всех ездивших до нее курильщиков и любителей чеснока. Флакончик «Котик», которым она решила перебить неприятные запахи, внезапно тоже разочаровал ее: куда девался нежный аромат!

Афанасий не замедлил заметить ей;

— Девчонка, ты подурнела. У тебя вид усталой лошади.

И Лиза наконец поняла, что она беременна.

Вот отчего это раздраженно, сердцевенно, тоншота.

Дома она повалилась на диван и заревела в голос. Ей было нестерпимо жаль себя. Она сердилась на Никиту за то, что он еще ничего не знает. А если бы и знал, то что бы он мог сделать? Рушились все ее замечательные планы. Ни на какой фестиваль она не поедет, будет ходить с круглым животом. Наплакавшись до тупой боли в затылке, она устало лежала ничком и глядела в потолок. «Зачем я живу, — спрашивала она себя. — Молодость, цветы, музыка — обман. Суть в том, чтобы производить себе подобных...» Она вспомнила, как Никита рассказывал про молодых кобылок: «Их тянуло к неизвестному. Они начинали первничать. Просто сходили с ума, понимаешь? Одна такая перемахнула через изгородь и понеслась через поле. Куда? Зачем? Сама не знает. Изо всех сил неслась. В ней кипела природа. Остановить, поймать невозможно. От напряжения сосуды начали лопаться. Замертво упала... А к остальным ввели старого мерина. Они его окружили и притихли, вздрагивая. Такие молоденькие, трепетные».

«Как все просто, — думала Лиза. — Вышла замуж, родила. Вот и все мои дела!» Она кисло усмехнулась, сжала зубы и подумала: «Нет уж! Не так мы будем существовать». Решение пришло простое и выражалось коротким неприятным словом. В этой затее

было что-то постыдное, как будто Лиза шла на обман. «Но ведь мне так плохо, — оправдывалась она. — Мне тяжело». — «Думаешь, другим легко?» — укоряла она себя. «Но другие не готовятся к фестивалю!» — «Другие — это серые клуши? А ты, значит, — служительница муз? Вся из себя этакая, особенная?» — «Я не особенная, — спорила с собой Лиза. — Но мне хочется радости!» — «Кому ее не хочется?..»

— Слушай, Игорь, — сказал как-то после ужина в отеле «Пейрис» Никита своему товарищу по команде. — Неужели мы будем дрыхнуть, когда за окном ночной Париж?

— А что делать, если меня после этих Лувров ноги не держат! — ответил товарищ.

Однако после некоторого колебания они решили идти смотреть город. Обычная, ничем не выделяющаяся при свете дня площадь преобразилась в ночном освещении: разверзлись мерцающие входы сомнительных заведений, эротические рекламы засветились в ночном небе, в полумраке подворотен возникли силуэты в экзотических одеждах. Никита издали заметил худощавую фигурку с рассыпанными по плечам волосами. На ней были серебристые лакированные сапоги и трусики, кофта или накидка, не понять. В руке сигарета. Взгляд прямой, откровенный. Большие блестящие серьги. Она улыбнулась, провела язычком по атласным губам.

«Что она сказала?» — спросил приятеля Никита.

«Назвала цену».

«Сколько?» — поинтересовался Никита.

«Зачем тебе? — отмахнулся приятель. — Пойдем лучше сюда». Они зашли в аптеку. Игорь заговорил с продавцом. Тот выставил перед ним несколько видов детских сосок.

«Видал красоту? — сказал Игорь. — Выбери!»

«Мне ни к чему», — ответил Никита.

«Наиболее ходовой сувенир», — серьезно отметил Игорь.

«Я уже постратился на виски. «Белая лошадь» называется».

«Слыхали», — ответил Игорь и отобрал пять упаковок с сосками.

Продавец с удовольствием ловко покидал их в хрустящий розовый пакетик и получил деньги. «Мерси, мерси!» — сказал он обоим друзьям.

«А ты говоришь», — неизвестно к чему заметил Игорь.

Никита обернулся на угол, где стояла девушка, но ее там уже не было...

Лиза посмотрела на часы: три часа ночи.

Она пошла на кухню, налила в стакан воды, выпила и поморщилась: ей показалось, что и вода приобрела неприятный привкус. Засыпала она долго. И когда, наконец, забылась, ей привиделся сон: медсестра в резиновых перчатках держит на ладони маленького ребеночка и показывает Лизе. Лиза спрашивает: «Разве он уже родился?» — «Конечно», — отвечает та. «Почему же он такой маленький?» — хочет спросить Лиза, но боится, что сестра рассердится и унесет эту куколку.

Лиза открыла глаза: полпятого утра. «Черт-те что!» — сказала Лиза, встала и опять пошла на кухню. Там в шкафу стояла бутылка, на этикетке которой была нарисована стройная белая лошадь. Лиза хрустнула пробкой, сворачивая ее впервые, и налила в рюмку, поднесла к носу, понюхала. Запах показался ей противным. «Кажется, это разбавляют водой», — подумала Лиза, но не разбавила. Вкус воды она уже знала.

«Сколько же это будет тянуться? Неужели все девять месяцев? — думала Лиза. — Богатая перспектива!» Она вспомнила женщину в их подъезде, которая недавно еще ходила с животом, а теперь уже возит детскую коляску. У нее всегда спереди расходился, не застегиваясь, плащ. А глаза смотрели весело.

«Наверно, у всех по-разному бывает. Одним легче, другим тяжелее», — предположила Лиза, но это ее не успокоило.

В девять утра резанул телефонный звонок. Лиза, так и не уснувшая, щурясь, потянулась рукой к столу, локтем задела бутылку, и та опрокинулась.

— Фу-ты, господи! — скривилась Лиза, подхватила бутылку и поставила на место рядом с образовавшейся лужей.

— Малыш, это я! — радостно сообщил в трубке голос Никиты. — Я тут на вокзале провожусь еще часа два. Ты не спишь?

— Я не сплю, — вздохнула Лиза.

— У нас все в порядке? — насторожился Никита. — Ты меня слышишь? Что-нибудь случилось?

Лиза напряглась, чтобы не всхлипнуть.

— Мне тебя кормить нечем, — сообщила

она. — Кроме батона и банки варенья, ничего нет.

— Дело поправимое! — успокоил Никита. — По дороге на рынок загляну, чего-нибудь принесу. — Я тут такую лошадку, привез, загляденье! Знаешь, как зовут? Малыш! Ее зовут Малыш. Она такая хорошенькая, как ты.

— Я рада, — сказала Лиза. — Приезжай.

Положив трубку, она зарыдала. «Он будет возиться со своими лошадьми, будет таскаться по командировкам, а я стану домашней клушей». Сейчас она ненавидела Никиту и жалела себя. «Нет уж, я не стану лошадью! Буду сама собой. Музыкантом. Лауреатом. Потом когда-нибудь заведу ребеночка. Не сейчас. Еще рано».

Через час, умытая, с красными глазами, Лиза ставила на кухне чайник.

Никита открыл дверь своим ключом. Одну сумку он оставил в прихожей, другую с продуктами понес сразу на кухню.

— Вот и я!

Лиза повернулась к нему и слабо улыбнулась.

«Сейчас он начнет допытываться, что со мной. Я ему все выложу. Он скажет, не делай глупости. Я скажу, что не хочу быть лошадью. А он скажет, что я эгоистка. Потом он скажет, что так в природе устроено и женщина должна быть матерью. А я скажу, что мне страшно. Он засмеется и начнет мне объяснять, что я напрасно боюсь, что нынче роддомы оснащены современной техникой, и это все происходит легко и просто. Я скажу, а как же моя музыка? Как же Париж? Он

ответит, есть о чем печалиться! И мы сядем завтракать».

Девичник

— Это разве жизнь? Это просто фу! — а не жизнь.

— Не говори! Крутишься-вертишься, а радости никакой.

— Мне вчера приснилось, как будто я прихожу из химчистки со своей шубой, пробую надеть и не могу — она вся расплзается на мне. Вроде как от старости. Я во сне так расстроилась, думаю, ведь ей и пяти лет нет, и такое дело. Чуть не заплакала.

— Это наши молодые годы уходят, вот и тоска.

— Серьезно?

— А ты думала! Мы уже не девушки. Мы давно уже жены-матери. Сколько вы с Ванечкой живете? Лет десять уже?

— Двенадцать.

— О! И я со своим пятнадцать. Три беременности, роды. Мы с тобой женщины среднего возраста.

— Не преувеличивай. Мы еще вполне милышки. Особенно ты, когда свое малиновое платье наденешь и голову помоешь.

— А ты свой голубой костюм.

— Точно. С белой блузкой. У меня кроме этого костюма ничего путного и нет.

— Уж прямо! Индийское платье с вышивкой, крепдешинное в горошек, и еще такое... неопределенной расцветки.

— Старье все. Ничего у меня приличного

нет. Дожила до тридцати двух лет, нарядов не было и нет.

— У меня вроде немало платьев хороших было, но любимого ни одного. Нет, одно было. Белое ситцевое в цветочках. Как бы выпускное. Представляешь, не на что было шелковое шить. Ситцевое как раз по карману. Тогда у всех капроновые были. Мода на синтетику пошла. Как я огорчалась, глупая, что у меня наряд простецкий, не просвечивает как туман... Зато юбка вышла солнце-клеш.

— Не люблю я вспоминать юность. Начнешь перебирать в памяти одно, другое, думаешь, господи, неужели я такая дуручка была?

— Это почему же?

— Потому что неправильно о жизни рассуждала. Все ждала чего-то необыкновенного. Профессию себе выбрала необыкновенную: геолог! Почему геолог? Ну почему? Потому что романтично — ходить по земле с рюкзаком за плечами, спать у костра, песни петь под гитару: «Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голоса-ами». Потом увидела фильм о врачах. Размечталась, представила себя в белом халате у постели спасенного больного...

— Я тоже врачом хотела стать. Но вовремя спохватилась, лягушек резать побоялась.

— За мной один человек ухаживал. С намерением. Я его пригласила на семейный обед. Думаю, поест вкусно, предложение делает. Он поел с удовольствием и говорит матери: «Очень вкусная курица». А мама ему: «Это не курпца, а кролик был». Мой ухажер как схватился за живот: «Что же вы меня

не предупредили?» Он медик был и этих кровликов препарировал, представляешь?

— Предложения руки и сердца не последовало?

— Естественно. И слава богу! Теперь вспоминаю его, думаю, ведь запуда был жуткий. Все на мои ногти поглядывал, чистые ли. Уберегли меня ангелы от такого союза.

— А мои ангелы дремали, когда мне Валя клинья забивал.

— Ты жалеешь, что вышла за него?

— Временами безумно.

— Да ну?

— Вот и ну. Вышла замуж, как в омут головой бросилась. От родительской опеки сбежала.

— А любовь?

— Лирика для старшеклассниц. Пучок душистого сена для лошадки перед тем, как ее взнуздают. А потом — по, поехала! Вези воз — и весь спрос. Принеси! Подай! Не мешай! Причешись! Не возникай! Не толстей!

— Да, жизнь у нас необыкновенная. А уж как нас ценят, холят-лелеют! Выть хочется.

— Разве я толстая? Ну посмотри на меня, толстая?

— Когда ты в жакете с плечами — вполне стройная. А в штанах, извищи, сальце заметно. Самую малость.

— Это у меня таз широкий. Такое сложение, понимаешь?

— Само собой! Но ежели каждую субботу пельмени готовить, то, знаешь, это червато...

— Так ведь мужик пельмени обожает. Сибиряк. Попробуй обойди его рыбным пиро-

гом, вздуется, неделю сопеть будет: ах я бедный, не кормят меня, совсем отощал.

— Мой тоже трескать здоров. Да еще чтоб разнообразие было. Чередование блюд. Статьи мне подкладывает из журналов с рецептами вкусной и здоровой пищи. Словно у меня других дел нет, как сутками у плиты крутиться.

— Нужно приправы употреблять всевозможные. Очень разнообразят.

— Где ж их взять? У меня одна приправа — чеснок да перец.

— Можно смешивать сухие травы. Петрушку там, укроп, киндзу.

— Все это я понимаю. Но если нет хорошего куска мяса, никакая приправа не спасет.

— Мясо на рынке.

— Ясное дело. Только с этим рынком без штанов останешься.

— Меня тесто выручает.

— Как сказать... Впрочем, вот послушайка, что я тебе почитаю.

— Это что за доисторическое издание? Смотри, листок выпал.

— Книжка старая, конечно. Наши с тобой прабабушки еще под стол пешком ходили, когда ее издали. Вот слушай: «Считаем необходимым указать, что в хозяйстве ни один кусочек, ни одна косточка не должна пропасть даром, и из каждого продукта надо взять все, что только возможно. Хотя это и старая, известная, вероятно, читательницам истина, но, принимая во внимание безалаберность большинства прислуги...»

— Кого-кого?

— Прислуги. Ну это еще при царизме писалось же!

— Занятно. Читай дальше.

— «...безалаберность большинства прислуги, зачастую и слишком поверхностное отношение к данному вопросу и самих хозяек, эту истину необходимо время от времени напоминать. Несмотря на кажущуюся незначительность и, с точки зрения некоторых, может быть, даже мелочность такой экономии, — осуществление ее на практике сбережет хозяйкам много рублей. Такая экономия, если хотите, целое своеобразное искусство».

— Что же они предлагают?

— Слушай: «Очистки от кореньев не бросать, а, проварив хорошенько, процедить и употреблять для супов, подливок и соусов из овощей».

— Ничего себе, очистки варить!

— «Головы и очистки от килек не бросать, а, прокипятив вместе с оставшимся в банке соусом, процедить, и, сохраняя в баночке, вливать, при необходимости, в форшмак, вместо селедки, а также в разные соусы, требующие пикантного вкуса. Навар этот придает форшмаку и соответствующим соусам приятный и нежный вкус, являясь в то же время совершенно бесплатной приправой».

— Забеситься можно. Представляю, как мой захлебнется от радости, когда я ему отварные головы от килек подам! Ха-ха.

— Зря смеешься. Тут есть полезные зерна.

— Дай-ка сюда книжку. «...Поджаривать муку для пассировки надо до розового состояния (приблизительно цвета корки французской булки)». А что это такое?

— Темнота! Уж о булках-то должна понимать.

— На мою толщину намекаешь? Не жалеешь ты моей чувствительности.

— Я тебя очень даже жалею. Ведь ты — это я. Все у нас с тобой одинаково.

— Только у тебя сын, а у меня дочь. Жаль, что твой парень моложе моей Дашки. Могли бы и породниться в будущем.

— О будущем не говорим. Сглазить можно. У меня так всегда: жду одного, получается совсем другое.

— А ты свое ожидание подкрепляй делом. Имей активную жизненную позицию.

— Я имею. Только ничего не имею.

— Так уж прямо ничего? А квартира? А зарплата? А семья?

— Я же не в том смысле, что, мол, у меня все плохо. Просто иногда хочется какой-то радости. Праздника

— Я на это дело смотрю проще. Вот ты приходишь ко мне — у меня праздник. Я прихожу к тебе — опять праздник.

— Ты да я — это девичник.

— Девичник это, по-моему, когда много девушек. Мы с тобой только две дурехи.

— Очень ты не лестно о нас рассказываешь. Разве мы плохие? Вот посмотри на себя в зеркало, разве ты не красавица?

— Уж прямо! Вот ты, я понимаю, хороша собою.

— Так. Если ты кукушка, то я, значит, петух.

— Правильно. Кукушка хвалит петуха. Ну и что? Если мы сами себя не похвалим, кому придет в голову сказать нам приятное, а?

— Мой иногда меня привечает.

— Особенно если обед вкусный подашь.

— И за обед тоже.

— Мой тоже мне иногда что-нибудь ласковое говорит. Например, вулканчик ты мой затаенный.

— В каком смысле вулканчик?

— В том смысле, что я молчу, молчу, а потом как вспыхну.

— Ты сейчас, пожалуйста, не вспыхивай. А вот лучше посмотри.

— Ух ты, красота! К моему демисезонному пальто — просто блеск! Замечательные сапожки. И сидят как здорово.

— Вот и носи на здоровье.

— Как это?

— Носи! У меня подобные есть. Я для тебя взяла.

— Сколько весят?

— Сто двадцать. Там чек. Соседка купила, да ей малы. Я ей к четвергу обещала вернуть или деньги отдать. Она упиралась. Говорит, два часа в очереди стояла, своего размера не достала. Взяла какой был с отчаяния.

— Какая хорошая соседка.

— Хорошая, только несчастная. Мужик налево пошел.

— Загулял?

— Похоже. Во всяком случае дома его видят все реже и реже. Говорит, на съемки ездит. В кино снимается. Он актер.

— Как фамилия, я знаю?

— Нет, он неизвестный. В кино пригласили на какую-то роль, вот и запорхал.

— Зачем же за актера выходила? Это ж

свистуны. Игроки. За мной один ухаживай. Ни слова от себя не скажет, все фразы из песок.

— Игорь неплохой. Работяга. Дома все делает, с сыном гуляет. На Новый год Дедом Морозом наряжался, ходил по квартирам, детей поздравлял.

— Хороший, а запорхал. Сама говоришь.

— Мы тоже, однако, не святые.

— В каком смысле?

— Сама понимаешь. У тебя что, кроме мужа, ни с кем никогда?

— Как тебе сказать... Если ты в этом смысле, то никогда.

— А желание такое было? Небось было. Жалуешься ведь, что не ценит.

— Не ценит. Вот приду домой, скажу, дай сто двадцать рублей. И начнется: зачем тебе еще одни сапоги? Еще старые не сносила. Транжирить денежки легко, а вот зарабатывать... Будто я их не зарабатываю.

— Жадненький?

— Периодически скупеет. То на «Жигули» копит, то все за один отпуск спустит.

— Его можно понять. Он и жизнь тебе украсить хочет, и в запас отложить. Добытчик! Это мой шалопут непутевый, только денежка в кармане забренчит, глядишь, уже кому-то одолжил, кого-то от чего-то спас. Прямо святой.

— Знаешь, почему мы с тобой столько лет безоблачно дружим?

— Потому что у нас вкусы разные: тебе нравятся мужчины спортивного вида, а мне интеллектуалы.

— Потому что мы не занимаем друг у друга.

— Я бы тебя всегда выручила, если бы нужно было. Ты что, сомневаешься?

— Нет, не сомневаюсь. Но и не хочу всяких неловкостей между нами.

— Ты умная подруга. Мне с тобой просто и хорошо.

— Да, хорошо! Сидим себе, чай с вареньем пьем. Разговариваем.

— Красивая жизнь.

— Не говори. Мужья при детях. Дети при отцах. Все здоровы (тьфу-тьфу!). Чего еще нужно?

— В самом деле?

День строителя

— Уйду! — сказала Ольга Петровна. — Уйду, сил моих больше нет. Пропади оно все пропадом, и эти блоки, и лифтовые шахты, и вся эта стройка. — Она устало села на табурет в прихожей и вытянула ноги.

Перед ней на стене висело большое зеркало и отражало утомленную женщину пенсионных лет в овчинном полушубке, сером пуховом платке и валенках с галошами.

Вот так каждый вечер приходила Ольга Петровна с работы, глядела на себя в зеркало и тяжело вздыхала. Жила она в однокомнатной квартире с большой кухней и просторной ванной одна. Квартира ей нравилась — чистая, светлая, ухоженная: на окнах

богатые бархатные шторы, на полу нарядный ковер, мебель темного лакированного дерева, цветной телевизор. Живи — радуйся!

— Уйду! — повторила Ольга Петровна и начала раздеваться.

Если бы сослуживцы увидели ее теперь, они бы сильно удивились. Куда девалась сосредоточенная деловитость, энергия и напор неумной женщины? Пониженные плечи, остановившийся взгляд. Всего только час назад она отдавала четкие приказания сменщику, убеждала, настаивала, — и вот она уже дома совсем другая.

Ольга Петровна пошла на кухню, налила воду в чайник и зажгла конфорку. Пока закипала вода, она прибавила звук в репродукторе и стала слушать музыку. С этой минуты радио уже не будет выключаться. Под его звучание она напьется чаю с пирогом из «Кулинарии», умоется и, приняв лекарство, прописанное ей, видно, на всю жизнь, ляжет спать. Ни бой полночных курантов, ни какие другие звуки в доме не нарушат ее сна.

Но в шесть часов утра тот же репродуктор словно будильник просигналит ей подъем. И она проснется, соберет в себе силы и встанет с постели, чтобы наскоро позавтракать, одеться и идти на стройку.

Что такое стройка с точки зрения стороннего наблюдателя? Это шум, грохот, грязь и заборы, портящие пейзаж. Недавние новоселы, годами ждавшие своей очереди на получение новой квартиры, став, наконец, обладателями просторных жилищ, приходят в большое негодование, когда рядом с их домом затевается еще одна стройка, возводится

еще один дом. Они с отчаянием захлопывают окна, чтобы отгородиться от шума механизмов, со страдальческими лицами перешагивают неожиданно появившиеся траншеи вдоль двора. Они возмущаются, бранятся, пишут жалобы в инстанции от райкома партии до Верховного Совета, но ничего поделать не могут. Стройка это факт времени. Завершаясь в одном месте, она начинается в другом.

За свою жизнь Ольга Петровна переменяла не одну стройплощадку. Начинала с чернорабочей после войны. Потом выучилась на плиточницу, отделывала готовые дома. Если бы сложить все квадратные метры выложенных ею плитками полов и стен, получилось бы неоглядное поле, потому что работала она умело и быстро — была еще крепка, молода и сыну хотела дать как можно больше. Потом закончила строительный институт.

Сын давно вырос, стал ученым человеком и уехал в Сибирь с женой Верой и маленьким Николаем. Почему надо было уезжать в Сибирь, Ольга Петровна не могла взять в толк. Наверное, решила она, потому, что там просторнее и дальше от матери. Ведь Саша еще старшеклассником мучился тем, что зависит от нее. «Дурачок ты мой, — говорила Ольга Петровна, успокаивая сына. — Еще наработаешься, как вырастешь. Будешь мне опорой в старости».

— Эх, старость не радость, — сказала Ольга Петровна, расстилая постель.

Заснула она мгновенно. Во сне она увидела мастера Милехина. Тот махал руками, пытаясь удержать равновесие, но стена, на которой он стоял, внезапно стала рушиться и распадаться по кирпичу с сильным грохотом. Ольга Петровна рванулась к нему и проснулась. В окне еще стояла ночь, и Ольга Петровна поняла, что проснулась от собственного крика. Это уже случилось с ней.

— Ну все, теперь не заснуть, — сказала и со вздохом перевернулась со спины на бок.

На боку стало труднее дышать: тлеющая в легких хроническая пневмония давала о себе знать. Снова повернувшись на спину, Ольга Петровна закрыла глаза в надежде вернуть сон.

«К чему бы это стена обрушилась? — подумала она. — Да еще та самая, на которую столько сил ушло».

Рисунок кирпичной кладки боковой стены строящегося дома едва не был нарушен все по той же причине, по которой Ольга Петровна ожесточенно схватывалась то с главным инженером, то с проектировщиками в последние десять дней.

«Если во сне плохо, значит, в жизни хорошо», — успокаивала себя Ольга Петровна, пытаясь забыть дурной сон и представить что-нибудь хорошее.

И она представила маленького внука Николая, когда он смешно топал по огромному залу аэропорта в толстом стеганом костюмчике. Как он сказал: «Дасиданя, баба». И как Вера деловито вела его по трапу в самолет, уже не оборачиваясь в ее сторону. Только сын Саша вошел в самолет последним и все

махал ей рукою... Тогда она вернулась на стоянку, села в свою машину и расплакалась. Потому что «у них началась своя жизнь» без нее. И их не удержала ни столица, ни садовый участок в пригороде, ни ее новенькая «Лада». Какой-то мужчина в миниатюрной шляпе, словно не замечая ее слез, настойчиво просил подбросить его до Савеловского вокзала: «Ну что вам стоит!» Но она ответила, что у нее нет сил, и включила мотор, чтобы не слышать его упорного голоса. Мужчина неодобрительно качал головой, когда она уезжала, и сказал что-то ругательное вслед.

У нее над кроватью висела фотокарточка Николушки, где ему уже четыре года. «В детский сад отдали!» — вздохнула Ольга Петровна. Она помнила детский сад в Заморье, куда пошла нянечкой ради Сашеньки. И это было счастье по тем временам. Потому что сын питался регулярно. А о себе она меньше всего хлопотала. Рада-радешенька была, что он на глазах у нее целые сутки. Нет-нет да и забежит в группу, посмотрит, не надо ли ему чего, не голодный ли, не заболел часом. По сей день, однако, у нее о детском саде мнение, что это одна холодная комната, в которой тесно сбились дети и ждут обеда. А на кухне повар украдкой отрезает от общего мяса и прячет под стол. Однажды такого повара они у себя разоблачили, когда ласковый детсадовский кот выволок припрятанный кусок и стал пожирать с наслаждением при всех. Как повар ни отпирался, ему пришлось уйти с работы, иначе коллектив пригрозил его засудить.

«Положим, кормят его там хорошо, — рассуждала Ольга Петровна о внуке. — Но ведь у него диатез. Кто это учитывает? Конечно, пикто. И для Веры все это пустяки, потому что явление массовое».

Ольга Петровна думала о Коленьке, а представляла Сашу в этом возрасте — внук и маленький сын слились для нее в одно дорогое, о чем она тревожилась постоянно.

«А какой там климат-то, в Сибири. Что наши морозы в сравнении с тамошними! Зато, говорят, лето пышное».

Ей представилось лето, трава по пояс, в траве крупные ромашки. Журчит прозрачный ручей. На дне камушки. Ручей течет далеко и становится большой рекой...

«Сибирские строители обязуются до конца пятилетки...»

По радио передавали последние известия. — Ну вот и утро...

Поднималась она всегда не сразу. Нужно было окончательно проснуться и собрать силы: в утомленном годами организме энергия появлялась постепенно — зарождалась сначала в мыслях, а потом уж переливалась по жилам ко всему туловищу.

Ольга Петровна не смотрелась в зеркало по утрам, знала, что веки у нее припухшие и лицо одутловатое — от лекарств, от болезней, накопившихся в ней. От усталости, которая давно уже не покидала ее.

Зазвонил телефон.

Ольга Петровна сняла трубку. Мастер Милехин без предисловий закричал простуженным голосом о перекрытии в третьей секции, «которое нужно проверить».

— То есть как проверить? — насторожилась Ольга Петровна.

— Известно как! Нужно. Мы там тридцать пять положили, а ребята вчера кирпич клали и говорят, не выходит...

— Что не выходит?

— Ну сбились мы, понимаешь! Так что проверить нужно.

Ольга Петровна поняла, и в ней закипела ярость: сколько же можно объяснять, чтобы ушами не хлопали.

— Так кирпич уже уложили? — строго спросила она.

— Раствору две машины надо было срочно выработать. Что ж его, опять на дорогу валить! — попытался уйти в сторону мастер.

— Напортачили! Я так и знала. Ну спасибо, дали работенку!

— Петровна, ну ты не горячись с утра-то.

— Тогда чего же звонишь с утра?

— Дак Савелян приедет и еще кто-то из управления. Надо бы до их прихода что-то сделать. Сама понимаешь. Разглядят, шуму наделают.

— Вот ты и объяснишь начальству, как брак допустил.

— Петровна, ты же знаешь, мне сейчас штрафить нельзя, я ж на очереди стою. Мне в этом доме квартиру обещали.

— Цуцик ты несчастный! Натворил дел и в кусты.

— Петровна, вот, клянусь, — загремел мастер. — Вот, все сделаю, что нужно. Заглажу, только помоги вывернуться.

— Ладно, что с тобой сделаешь! — оборвала Ольга Петровна и бросила трубку.

О ней говорили — грубая, ошибок не прощает, работает на износ и с других требует. Ради чего? Зарплата стабильная плюс пенсия. Потолок давно достигнут. Так что ни квартальные, ни прогрессивки ее не волнуют. Карьера? В ее годы об этом уже не хлопчат. Она прораб. И прорабом закончит.

Рабочие относились к ней терпеливо. «Кричит»? Ну и пусть покричит. Зато справедливая.

Спорить с нею считалось бесполезным: все равно свое докажет. Потому что дело знает. Сорок лет на стройке — не шутка.

Милехин это понимал. А вот мастер Долгушин не желал понимать. Потому что ему исполнилось двадцать семь лет и у него был диплом с отличием. Еще у него была невеста Марина. Девушка мечты. В прежние времена ее сердце могло бы звонко откликнуться на его блестящий диплом и приятную внешность. Но сейчас девушек больше волновали жилищные проблемы. И Долгушин решил во что бы то ни стало заработать квартиру. Ему не повезло с самого начала: Петровна знала про его диплом, но держалась с ним холодно. Долгушин на память цитировал ей параграфы из СНИПа, доказывая всеми силами свою фундаментальную теоретическую подготовленность, но эта «мужик в юбке» брала его за шкуру и тыкала носом в огрехи, которых могло не быть, если бы он «не строил из себя знатока, а шевелил мозгами на доверенном ему участке». Долгушин нали-

вался краснотой, обижался на командиршу, но уговаривал себя терпеть все. Нужно было «трубить» минимум три года. Раньше квартира не светит. А потом: «Что в городе, других строек мало? Навалом! Глядишь, старуха сама уйдет. Здоровьишка-то мало осталось».

Так думал Долгушин, успокаивая задетое самолюбие и обрывая тонкую ниточку сочувствия к этой тяжело поднимающейся по скрипучим доскам строительных лесов пожилой женщине.

Ольга Петровна пришла на стройку и, не заходя в прорабскую, отправилась к месту неполадки. Ее наметанный глаз быстро нашел огрех: перекрытие уложили не на проектной отметке, и «горизонт» был нарушен. Чтобы исправить положение, необходимо было разобрать кирпичную кладку, то есть переделать все заново.

Ольга Петровна чертыхнулась и пошла в тепляк — деревянный вагончик с электропечкой, где рабочие могут погреться вовремя смены и где мастеру за небольшим столом ловчее заглянуть в чертежи.

— Ну, конечно, чертежей нет на месте! — воскликнула Ольга Петровна. — Опять Долгушин залез в прорабскую и греется. Ползи теперь за ним вниз!

Она вышла из тепляка и оглядела стройку: окруженная забором строительная площадка была заставлена лифтовыми шахтами, санузлами, штабелями бетонных перекрытий: материалов завезено на год вперед. «Бетон-

ный завод себе перевыполнение плана обеспечил за наш счет», — говорили строители. В первой секции жилого дома уже трудились каменщики. Увидели ее, помахали, приветствуя. Ольга Петровна хотела было пойти к ним, проконтролировать, но решила сначала «тряхнуть Долгушина».

— Я вас полчаса жду на рабочем месте, а вы тут греетесь! — сказала она, входя в прорабскую.

— Я пришел без четверти восемь, — ответил хмуро Долгушин.

— Куда вы пришли, к батарее отопления?

— Ну знаете! — вспыхнул мастер.

— Почему чертежи тут, а не там, где в них нужда?

— Я изучаю.

— Вы доизучались! Уложили перекрытие на двадцать сантиметров выше.

— При чем тут я?

— А кто, по-вашему, при чем? Я?

— В чертежах я не хуже вашего понимаю. Прежде чем бросаться на человека, разберитесь. С проектировщика спрашивайте. Почему у него в пятом листе одна балка дана, а во втором другая?

— Где?

— Вон смотрите, — Долгушин небрежно бросил на стол кипу чертежей.

Этот жест не прошел бы даром, если бы внимание прораба не отвлек электрик Числов, влетевший в прорабскую с обиженным лицом:

— Петровна, уйми Милехина. За глотку берет. Я что, семижильный?

— Ты электроосвещение наладил? — спросила Ольга Петровна.

— Так я ж говорю, кабель давайте, — запротестовал Числов.

— Я об этом кабеле вторую неделю слышу, — ответила прораб. — Кран простаивает, а ты резину тянешь. Тебе что, объяснить твои обязанности?

— У меня кабеля нет.

— Свяжись со складом.

— Я связался. Но транспорт весь занят. Я что, на такси должен возить этот кабель?

— Где ты был позавчера, когда машина с вагонкой пошла на склад?

— У меня приступ был. Милехин знает, — не сдавался Числов. — Язвенник я. Мне в больницу ложиться надо, а я тут последние нервы трачу!

— Тебе пить бросать надо, пока тебя твоя язва не доконала.

— При чем тут пить — не пить!

— А при том, что если еще раз появишься на площадке в нетрезвом виде, церемониться не стану. Подам докладную, и ступай лечись.

— Ну чего ты заводишься, ей-богу! — и ушел.

За дверьми раздались голоса. В прорабскую вошел Милехин и водитель грузовика, привезший бетонные перемычки. Водитель требовал, чтобы его разгрузили, а Милехин просил «чуть повременить» и уложить несколько перемычек сразу на дом, чтобы потом не откапывать их из-под снега, не искать среди прочего материала.

— Да мне какая разница, в снег или на

дом! — заявлял водитель. — У меня время не резиновое.

— Но ты же понимаешь ситуацию! — увещевал его Милехин. — Тебя как человека просят подождать. Сейчас такелажник освободится, сделаем прикидку и положим.

— Вот так всегда, — не унимался парень. — Приедешь и стоишь как дурак. Вон вас сколько, а решать некому.

— Ладно, все! — отрезала Ольга Петровна. — Милехин, разгрузите машину.

— У меня стропольщик занят.

— Долгушин! — обратилась она к молодому человеку. — Займитесь разгрузкой, пожалуйста.

Долгушин недовольно повел плечами:

— Но ведь мы собирались решить с чертежом...

— Бонтесь брючки запачкать? — спросила она.

Долгушин отбросил карандаш, резко поднялся и вышел.

— Сурово ты с ним, — заметил Милехин.

Ольга Петровна вдруг широко улыбнулась:

— Пусть повертится в деле, если хочет настоящим строителем стать. Гонору-то много, а практических знаний не очень. Тулупчик новенький надел, джинсы заграничные — перед кем красуется? Перед рабочими? А ботиночки на нем ты видел? Долго ли в такой амуниции на морозе продержишься? То-то! А он мастер, должен контролировать работу на месте, а не из прорабской.

— Молодой, исправится, — заметил Милехин.

— Правильно, защищай его. А он тебя прикроет в случае чего.

— Ты не права. Это перекрытие на моей совести.

— Вот и исправляй его, пока не поздно. Ломай стену, — предложила Ольга Петровна.

— Людей нет. Половина на больничном, ты же знаешь.

Ольга Петровна с досадой махнула рукой:

— А у меня сил нет расхлебывать каждый день эту кашу. Чертов индивидуальный проект! Накрутили архитекторы, а прораб разбирайся. Сейчас о вентиляции вопрос. Поставим шиферные короба, рассыпятся раньше срока, их потом не заделаешь как следует. Говорю, надо из облегченного бетона, возражают. Сметой не предусмотрено. На материале экономят. А на рабочей силе кто экономить будет?

В дверь постучали. Вошел мужчина, поздоровался, спросил прораба.

— Я прораб, — ответила Ольга Петровна. — Что нужно?

— Я жилец из дома, который вы сдали.

— А-а, — понимающе кивнула Ольга Петровна. — У вас претензии?

— Да, знаете, есть замечания по качеству строительства.

— Какая квартира?

— Семнадцатая, — ответил жилец. — Вот ждали-ждали праздника и дождались! — он повернулся к Милехину, ища сочувствия.

— Значит, вы не довольны жильем? — спросила прораб.

— Жилье хорошее, просторное. Слава

богу, заслужили. А вот качество, — мужчина покачал головой, — неважное.

— Конкретно, что вас не устраивает?

— Тут все изложено, — сказал мужчина и протянул листок бумаги.

Ольга Петровна взяла листок, тяжело вздохнула и быстро пробежала глазами «список недоделок».

— Какого размера у вас трещина на оконном стекле? — спросила она у мужчины.

— Миллиметров пять, — ответит тот.

— И вам не стыдно, товарищ, из-за такого пустяка подымать разговор?

Ольга Петровна вышла за дверь и скоро вернулась с пучком деревянных штапиков для окон. Она протянула его мужчине:

— Вот прибейте по периметру рамы, и скол закроется.

— Я сам должен прибивать?

— Нет, мы позовем начальника треста...

— Ну, я пошел! — сказал Милехин, надевая рукавицы.

— Подожди, ты мне нужен, — остановила его Ольга Петровна.

— Список я оставляю, — решительно заявил мужчина, поняв, что разговор окончен.

Едва он вышел, стал звонить телефон.

— Ну вот, линию включили, — сказал Милехин и поднял трубку: — Милехин у аппарата! Кого? — спросил он и глянул на Ольгу Петровну.

Та отрицательно махнула рукой и стала надевать шубу, собираясь на площадку.

— Она на корпусе, — соврал Милехин и положил трубку на рычаг.

Телефон загремел снова.

— Ну их! — сказала Ольга Петровна. — Некогда.

Она пошла к строящемуся дому, грузно проваливаясь валенками в снег. Глядя, как орудует бригада во второй секции, она искала среди знакомых фигур Долгушина, но не могла разглядеть без очком. «Небось уже в тепляке, — подумала она и вдруг увидела его оранжевую защитную каску. «А, крутится», — удовлетворенно отметила она.

Зима выдалась снежная, с морозами. Работать на открытом воздухе было непросто. Держать ритм, убеждать, делать то, что необходимо в конкретный момент, тоже было нелегко.

И Ольга Петровна сосредоточенно шла к бригаде, готовая к очередным нерешенным проблемам, возникающим то и дело на объекте.

В прорабскую она вернулась только через два часа, но не потому, что начался обеденный перерыв, а из-за холода и колючего ветра, пробирающего насквозь. Не спасала ни шуба, ни кофты, ни даже громоздкий брезентовый плащ. И хотя было самое время проверить вторую секцию перед укладкой перекрытий, Ольга Петровна, боясь простудиться и слечь, ушла с площадки вслед за каменщиками.

Войдя в прорабскую и увидев, что в ней никого нет, она села за письменный стол, придвинула к себе телефон и набрала номер.

— Алексей Семенович? Уехал в трест? А кто это, Архипов? — Ольга Петровна оживилась — Вы мне как раз и нужны. Здрав-

ствуйте. Я прораб Никитина. Да, та самая. Да, все по тому же делу.

Ольга Петровна уже не один раз звонила в стройком насчет квартиры для Долгушина. Там сначала обещали рассмотреть заявление молодого специалиста. Потом сказали, что Долгушин поставлен на очередь, но отдельную квартиру на одного давать не хотели.

Ольга Петровна объясняла, что парень не может жениться, потому что некуда привести молодую жену. Ей отвечали, что это не аргумент, что Долгушин еще не заработал авторитета. Пусть покажет себя, тогда видно будет. Ольга Петровна убеждала, что Долгушин обязательно себя покажет. «Очень толковый специалист, уверяю вас, — говорила она. — Будет у него и стаж, и опыт». Ей замечали, вы за Долгушина как за родственника хлопчете. Да, соглашалась она, я за него хлопочу. Потому что человеку надо помогать.

Разговор с Архиповым в данном случае не сулил ничего определенного. Но Ольга Петровна знала, что не отступится и будет воевать за парня. И она закончила категорично:

— Я не оставлю этого дела. Вы ждете от человека хорошей работы, так обеспечьте ему хорошие условия для жизни.

Архипов наверняка был недоволен ее звонком: в прошлом году Ольга Петровна уже боролась за квартиру для каменщика Плоткина. Теперь у нее появился еще один подопечный.

Неугомонная, решил он про нее, но отвечал уклончиво:

— Хорошо, мы подумаем.

— Думай, думай, — проговорила Ольга Петровна, положив трубку на рычаг аппарата.

В прорабской у нее был отгорожен закуток с электроплитой, столом и двумя стульями. Здесь можно было перекусить.

Пока закипал чайник, Ольга Петровна развернула кулек с бутербродами и выложила их на тарелку. В эти минуты передышки она думала о себе. То есть не столько о себе, сколько о том, что составляло ее жизнь вне работы. «Хорошо бы послать ребятам апельсинов! Вот бы порадовались». Но потом Ольга Петровна представила, как она несет ящик на почту, как у нее заходится сердце и немеют руки от тяжести, и поняла, что такое дело ей не под силу. «Костюмчик надо Кольеньке шерстяной, — рассуждала она. — Разве что самой связать? Ниток надо. Из старых свяжу, Вера не одобрит, скажет «мы своему единственному сыну из обносков не хотим ничего». А можно бы красиво связать, с разными узорчиками.

Только Ольга Петровна налила чаю в стакан, зазвонил телефон. Она услышала, что трубку подняли и Милехин стал объясняться с кирпичным заводом.

Она крикнула через стенку:

— Скажи им, что у нас обеденный перерыв!

Но Милехин не отреагировал и продолжал громко доказывать, что заявка на кирпич была подана в прошлом месяце, а не в текущем.

Ольга Петровна удержалась, чтобы не вступить в разговор. Она знала, стоит «за-

вестись» и обеда уже не будет. Не будет оставшихся двадцати минут, чтобы перевести дыхание перед второй половиной рабочего дня, которая обещала быть не менее напряженной.

...В воскресенье, сидя на кухне, Ольга Петровна начала писать письмо троюродной сестре в Саратов, но не дописала, потому что вдруг стала вспоминать свою жизнь и расплакалась. Перечитала написанное и подумала, зачем же других расстраивать. Ведь там, в Саратове, дальние ее родственники, наверное, думают, как хорошо она устроилась в большом городе. Сына воспитала, внука имеет, машину купила. И вдруг такие речи: «Одна. Работа тяжелая. Здоровье плохое». Прочтут ее жалобы, станут сочувствовать, не понимая, в чем же состоит ее беда. Ольга Петровна решила написать по-другому.

«Знаешь, Маня, обо мне, наверное, говорят: чудачка, чего в жилу тянется. Шла бы на покой, и все такое. Может, они правы. Но я думаю иначе. От человека должна быть польза. Хоть какая-нибудь. Сидеть на лавочке у подъезда я никогда не стану. Идти в сторожа мне нет смысла: у меня голова еще за семерых работает. А это чего-нибудь да стоит!»

Ольга Петровна остановила себя: «Вот расхвасталась! Очень красиво, нечего сказать». И она круто переменяла тему: «В этом году лето обещают жаркое. Будет хорошая клубника. Приезжай на мой огородик. Оторвись от своего хозяйства на неделю и приезжай. Может быть, в августе и ребята прилетят на День строителя. Они меня всегда поздрав-

ляют. В прошлый раз они на Рижское взморье из-за моего праздника не поехали, хотя им путевку предлагали. Вот такие у меня хорошие дети».

Присочинив насчет причины несостоявшейся поездки в Прибалтику, Ольга Петровна вспомнила, что давно пора омолодить клубничные посадки, и принялась звонить однополчанину Казаченкову. Тот уже второй год обещал «Фестивальную». Он прождал ее все прошлое лето, надеясь, что она сама приедет к нему на участок и заодно подскажет, как переоборудовать сарай под оранжерею. Ответила жена Козаченкова, обрадовалась Ольге Петровне и пожаловалась, что Ваня опять в госпитале, выпишут только в среду.

Ольга Петровна велела передать привет и сказать, чтоб скорее становился на ноги...

После горячего чая она чувствовала прилив сил.

— Виктор Семенович, кончай говорить, иди сюда, — позвала она.

Милехин заглянул в дверь, потянул носом:

— Колбаской пахнет!

Ольга Петровна показала на стул:

— Садись, питайся.

— Ну спасибо, Петровна, а то желудок к спине присох. В столовую уже не поспеть, а есть хочется ужас как!

За перегородкой уже шумели возбужденные голоса. И она не стала дожидаться, когда в ее уголок постучатся и потребуют ее участия в делах. Телефон звонил почти не переставая.

Этот день был похож на предыдущие своими мелкими и большими неурядицами, пе-

рестановками рабочей силы, распределением материалов, неизбежными стычками и разногласиями. К счастью, обошлось без аварий: плотник не повредил молотком руку, у крановщика не оборвался трос, экскаваторщик не задел подземный кабель, роя траншеею, никто по ошибке не зашел в трансформаторную будку, пока электрик не закрыл ее, никто не пришел с обеда навеселе.

Но от всех дневных разговоров, согласованных, увещеваний в голове была тяжесть. Ломило в спине. Гудели ноги от бесконечной ходьбы по временным лестницам из секции в секцию. И в конце рабочего дня Ольга Петровна едва волочилась. Со стройки она уходила последняя, дождавшись сторожа.

«Ну вот, скоро магазин закроется, — вспомнила она. — А у меня хлеба нет».

Кроме хлеба у нее еще многого не было в доме, но уже не хватало сил не только идти в магазин, стоять в очереди, но и что-то готовить себе...

Открыв дверь в квартиру, она вошла и тяжело опустилась на стул. Усталая женщина в зеркале глядела на нее с укоризной.

— Дотяну до мая и уйду, — сказала Ольга Петровна. — Хватит с меня. Начну отдыхать, как другие пенсионеры. Навещу детей, посмотрю, как они там живут. Заберу Коленьку к себе на лето. И будет нам хорошо.

Она расстегнула шубу, развязала платок, оглядела себя в зеркало:

— Ох и стара же ты, подруга! Морщины какие! Бабка. — Она покачала головой, вздохнула и вспомнила: — Куда же я поеду? У них

квартирка меньше моей. Там и без меня тесно. — И она представила себе натянутую улыбку Веры, ее холодную вежливость. — Нет, не надо мне туда ехать. Вот будет День строителя, они сами приедут. Я пирог испеку с клубникой. Они любят.

И Ольга Петровна почувствовала быстрые слезы, хотела удержать их, но они уже стояли в глазах.

«Опять расквасилась! — осудила она себя и приказала: — А ну-ка, соберись. Утри фасад. А то опять сердце прихватит».

...По телевизору показывали военный фильм. Было очень похоже на настоящую войну. Ольга Петровна не любила вспоминать о ней, особенно в одиночестве. Но сейчас с экрана послышалась старая-престарая мелодия, от которой повеяло юностью и непонятной радостью.

На какой-то миг в ней проснулась застенчивая девушка с двумя тощими косичками, которая любила стихи Некрасова и мечтала поступить в Политехнический... Неужели это она, спустя несколько недель после окончания школы, волокла на себе своего первого раненого и, всхлипывая, просила: «Дядечка, потерпите. Дядечка, я вас сейчас в окопе перебинтую».

«Короткая жизнь!» — вздохнула Ольга Петровна, боясь задержаться на воспоминаниях. Но музыка звучала и не давала покоя.

Короткая жизнь...

Уже в постели, засыпая, Ольга Петровна мысленно дописывала письмо троюродной сестре, которую помнила еще сопливой девчушкой в штапельном сарафане.

«А помнишь, Маня, у нас во дворе росла большая-пребольшая груша? Ох, какая она была вкусная! Мы ее потом срубили, когда налог велели платить. Жалко... Я у себя на участке посадила грушу, но у нас климат сложный. Боюсь, вымерзнет».

Под утро Ольге Петровне приснилась стройка. И что-то там не ладилось. Милехин куда-то звонил. Наверное, ей.

Из жизни буржуев

Вообще-то его звали Феофан — в честь древнерусского живописца. Но ему так надоело объяснять всем происхождение своего непопулярного имени, что однажды, мысленно попросив у покойного родителя прощения, он стал называться просто Федя. Жена Люся величала его по-прежнему Фофа, а в ласковые моменты Фофочка. Дочурка Ляля еще барахталась в колыбели и не называла его никак, а только весело гукала, когда он над ней склонялся.

Федя был счастливый человек. Во-первых, потому что батя вернулся с войны живой и у них с матерью получилась любовь, в результате которой он родился. Во-вторых, его собственная жена была святая: красивая, с высшим образованием пошла за него, серого работягу, и маялась с ним по чужим углам четыре года. В третьих, им дали отдельную однокомнатную квартиру в хорошем зеленом районе. Правда, за выездом, но — все же! Они

с женой так радовались, что не сетовали ни на первый «высокий» этаж, ни на тараканье семейство, вынудившее их на решительные меры: супруги трижды травили паразитов, в результате чего Федю дважды увозили на «скорой помощи» по поводу самоотравления. И, наконец, в-четвертых, у Феди были золотые руки. Должность его обыкновенная: кровельщик. Однако помимо своего дела он знал и умел так много, что это приносило семье заметную выгоду. Квартиру он отремонтировал сам: не только побелил потолки, поклеил обои, но даже кое-где заменил подгнившую столярку. Сам перебрал и заново настелил паркет. Соседи приходили, ахали, восхищались и примеривались, как бы использовать в своих нуждах неожиданно появившегося в их дом умельца. Осаждать его стали не сразу, предполагая, что за свои таланты он вправе заломить хорошую цену. Когда же поняли, что перед ними бескорыстная душа, приветливо оттаяли и взялись за парня. Федя готов был помочь всем, кто просил. Он навешивал книжные полки, ремонтировал поломанные стулья, проводил телевизионные антенны, чинил канализацию, радиоприемники и вставлял дверные глазки.

Чаще других привечал Федю сосед Бушуев. Игорь Антонович служил по продовольственной части. Бухгалтером в гастрономе. Вследствие чего мог достать дефицит не только в смысле импортных питательных смесей для новорожденных, но и более того. Однако Игорь Антонович был человеком сдержанным и не слишком распространялся о своих неисчерпаемых возможностях. Он любил

тишину. Свою жену Антонину он давно уже не любил, но высоко ставил ее деловой практический ум. Если бы не она, у них никогда бы не завелось огородного участка на сорок пятом километре. Коренная горожанка, постигавшая «пленительный мир природы» в городских скверах и до сорока с лишним лет не знавшая, как пахнет василек, она вдруг со всей страстью вцепилась в пять соток заблоченной земли, отстояв свое законное право в длинной очереди желающих разводить овощные и ягодные культуры.

Когда вождеденный участок был обретен, возникла масса проблем и задач, главная из которых — транспортная. Воскресная давка в электричке, ноющие от пудовых рюкзаков плечи (продукты и даже стройматериалы приходилось возить на себе), шлепанье от автобусной остановки до места два километра по весенней и не просыхаемой до июля бездорожной хляби — вопили об этом. О необходимости приобретения индивидуального транспорта. «Хоть какой бы драндулет купить, лишь бы вез!» — восклицала женщина и все активнее вдохновляла мужа. «Пойми, роднуля: денег у нас мало. И на половину машины нет, — вразумлял жену Бушуев. — Ковер зачем-то купили! Триста восемь рублей с книжки ушло». Ковер Антонина вырвала у супруга с кровью. «Неужто, — говорила она, — я так и проживу без хорошей вещи в доме? Разве я за свою трудовую жизнь не заработала на ковер?» Игорь Антонович отвечал, что у них есть уже ковровая дорожка, вот она лежит на полу, они уже десять лет по ней ходят. Но жена саркастически смея-

лась, говоря, разве это вещь? Ее уже трижды в чистку сдавали, она давно утратила первоначальные краски, и весь узор потерялся. «Эх ты, непонятливый!» И Игорь Антонович решился. Подержанный «Москвич» был куплен в комиссионном магазине на окраине города и пригнан бывшим владельцем к самому дому Бушуевых — прямо к подъезду. Когда прежний хозяин, прощаясь, облегченно вздохнул, Игорь Антонович заподозрил неладное. Но в чем состояло его подозрение, он тогда еще не понял. А понял позднее, после многократных и безуспешных попыток завести мотор. Приглашенный в качестве водителя для торжественной поездки за город знакомый Вася Кошкин с автобазы номер три, глянув на «лайбу», сразу разочаровался: старье допотопное. Потом же, не сумев возбудить в автомобиле даже искры жизни, махнул рукой и заявил, что аккумулятор сел, да и зажигания что-то того... Антонина, обложившись пустыми банками для будущих заготовок и отслужившей срок домашней утварью («там все сгодится»), терпеливо наблюдала за действиями Василия. Наконец, поняв, что машина не заведется, женщина выкарабкалась из салона и испепеляюще глянула на мужа: что приобрел, несчастный!

— С колесами у нее все в порядке? — осведомился Игорь Антонович у знатока техники.

— Колеса-то что! — заявил Вася. — Шины подкачать — и все дела. А вот остальное... — он развел руками. — Сложно. Так что мне идти надо. А вы уж извините. Тут возни на неделю.

— Вот и проехали, — скорбно протянула женщина. — Там огород сохнет, а мы тут мыкаемся. — Взор страдания обратился в сияющую бездну воскресного утра.

Игорь Антонович пошел к Феде.

Федя встраивал стенной шкаф. Прилаживал деревянные рейки каркаса, на которые предполагалось крепить выкрашенные «под дуб» куски древесностружечных плит, приобретенные в отделе «Все для труда» шумного Детского мира. Шкаф обещал быть прекрасным, не хуже магазинного.

Федя любовно оглядывал свое хозяйство: досочки, брусочки, аккуратный инструмент. Каждая вещица для дела. Все со смыслом.

Дверь открыла Люся. Она еще не успела поснимать с головы бигуди и слегка смутилась, увидев Игоря Антоновича.

— Я жутко извиняюсь! — воскликнул тот. — Здравьете! Такое дело, без вашего Феде пропадем...

Люся закивала, сообразив, что понадобился Федя, и впустила соседа, скрывая досаду: собирались пойти в парк после обеда. Но, видно, мужика опять «захомутают».

Федя не привык, чтобы его долго упрасивали. Он только сложил в ящичек инструменты, быстро подмел мелкие стружки и ласково взглянул на жену, словно говоря: «Ничего не поделаешь, милая! Надо помочь человеку».

— Просто несчастье какое-то, — завидев его, запричитала Антонина. — Там огород сохнет, а мы стоим.

Игорь Антонович досадливо крикнул: ну что разоряется. Пришел же человек. Посмотрит. Может, и наладит.

Федя сел за руль, поставил рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, качнул раза два педаль газа и повернул ключ. Мотор молчал. То есть в замке что-то щелкнуло. Видно, заряд был, но слабый. Федя открыл капот. Чем дальше он что-то разглядывал в моторе, трогал какие-то детали, тем сосредоточенней делалось его лицо.

Антонина нервно вздохнула и мысленно прикинула, за сколько ездов на электричке можно перевезти весь заготовленный ею скарб — банки, узлы, сахарный песок и прочее, чем был сейчас забит салон злополучного «Москвича». Вывод был страшный: сил не хватит. «Угрохали две с половиной тыщи — и на тебе, пожалуйста!»

— Попробуем прикурить, — сказал Федя.

Игорь Антонович с готовностью хлопнул себя по карману, достал пачку сигарет «Дымок» и протянул Феде. Тот хохотнул:

— Не в этом смысле! Нужно от какой-нибудь машины. — Он огляделся: во дворе других автомобилей не было.

— Схожу до гаражей, попрошу кого-нибудь, — предложил Игорь Антонович.

— Это далеко. Нужно на дороге посмотреть, — посоветовал Федя.

И тут к их радости во двор въехало легковое такси.

Машина притормозила у дальнего подъезда, и Антонина, не дожидаясь указаний, ринулась туда. Пока шофер неторопливо искал пассажиру сдачу, звеня мелочью, она

стояла у дверцы с опущенным окном и просительно улыбалась. Шофер равнодушно выслушал ее просьбу, что-то ответил, очевидно отказываясь, но женщина проникновенно взглянула на него и пообещала отблагодарить.

Федя уже закрепил проводки, когда подошло такси. Оставалось перекинуть их от одного аккумулятора к другому...

— С богом! — сказал он и вновь сел на водительское место.

В «Москвиче» что-то грюкнуло.

Сердце Антонины радостно толкнулось.

Таксист глянул на ручные часы и деловито сплюнул в зеленый газон.

Антонина вспомнила, что в кошельке у нее были три пятерки и один рубль. Металлический. «Хватит ли рубля? — думала она. — Ишь какой важный. Пошлет еще... Ну и пусть. Рубль тоже деньги».

«Москвич» заводиться не хотел. Он еще раза два грюкнул и перестал реагировать на Федины усилия.

«Вот почему он так вздохнул тогда! — вспомнил Игорь Антонович бывшего хозяина машины. — Спихнул поломанную дураку несмышленому и смеется теперь небось надо мной».

«А ведь рубля у меня нет, — вспомнила Антонина. — Я же его в гастрономе оставила, балда, когда селедку брала! Ну да. У кассирши с пятерки сдачи не было, я ей дала шесть, а она мне трояк и сорок две копейки. Придется трояк давать. Эх, одно разорение с этой машиной!»

— Карбюратор смотрел? — не выдержал

таксист, обращаясь к Феде. — Бензин-то есть в карбюраторе?

Федя хлопнул себя по лбу и полез под капот.

Таксист лениво вышел из машины, звонко захлопнул дверцу и наклонился рядом с Федей. Оба понимающе переглянулись.

— То-то! — сказал таксист со знанием дела.

— Подсос что-то не качает, — сообщил Федя.

— Отвинти крышку, налей чуток сверху. Сойдет! — посоветовал таксист.

Машина завелась.

— Ну вот! — обрадовался Игорь Антонович. — Дело мастера боится. Эх, Федя, что бы мы без тебя?

— Благодарим за спасение! — Антонина протянула водителю деньги.

— Карбюратор барахляный, — заявил таксист, принимая трешку. — У «Москвичей» это вечная история. — Он вытер ветошкой руки и сел в машину. — Бывайте!

«Надо бы тормоза проверить, — вспомнил Федя. — Сколько без движения простояла...»

— Огород небось высох совсем, — с досадой протянула женщина. — Два часа уже толчемся.

— Федя знает, что нужно делать, — осадил ее Игорь Антонович. — Машина не лисапед, подошвой не тормознешь. Правда, Федя? — он уважительно глянул на помощника.

— Это точно, — протянул тот. — С тормозами не шутят.

Он покачал педаль тормоза. Потом включил скорость, и машина тронулась с мертвой

точки, проехав метров пять по двору. На асфальте, где она стояла, осталась куча мусора — бумаг, щепок и еще какой-то чепухи, которую дворник или кто-то другой ловко заметал под нее.

— Федя, голубчик, — застонал Игорь Антонович, — докати нас до кольцевой, а там уж я сам как-нибудь, а?

Федя задумчиво покосился на окно своей квартиры. В кухне, отодвинув занавеску, стояла жена Люся с приветливой улыбкой.

— Да мы вот в парк собирались, на воздух, — пачал было он, но Игорь Антонович молитвенно сложил руки. — У меня и прав нету! — вдруг вспомнил Федя.

— У меня права есть! Новенькие! Без одной дырочки. Я водитель-то пока никакой. Увижу ГАИ, руки затрясутся и обязательно что-нибудь не так сделаю. Уважь, дорогой. За мною не пропадет, ты знаешь.

Федя смутился. Действительно, Игорь Антонович однажды подбросил им четыре килограмма гречки и на прошлый Новый год достал два батона импортного сервелату. Гречка их здорово поддержала, да и сервелат оказался вкусный.

Федя глянул на жену в окне, постучал по запястью левой руки, где должны быть часы, и понял кверху указательный палец, что означало: «Я испаряюсь на один час». Жена понимающе кивнула и ответила кривой улыбкой на поклоны супругов.

Они выехали на магистраль, ведущую к кольцевой дороге. Игорь Антонович сидел рядом с водителем и чутко реагировал на дорожную ситуацию.

— Желтый! Тормози! — командовал он Феде, замечая вдали светофор. — Осторожно, фуражкин впереди, — предупреждал он и успокоенно вздыхал, когда милицейский пост оставался позади.

— Вижу! — откликнулся Федя и притормаживал. Нервозность Игоря Антоновича передавалась ему.

Предстоял довольно бойкий перекресток.

Игорь Антонович завидел вдали постового и заблаговременно стал подготавливать Федю:

— Сбавляй!

По случаю выходного дня машин было не много, но, двигаясь в потоке, Федя придерживался общего режима, ехал довольно быстро.

— Не успеем на зеленый! — стонал Игорь Антонович. — Не проскочим. Сбавляй!

Федя слегка заволновался и довольно резко тормознул на желтый свет. Сзади раздался визг чужих тормозов.

— Кто же так ездит! — заорал на них водитель вишневой «Нивы». — Сейчас бы влупил тебе в зад, что тогда?

— Извини, товарищ, — попросил Федя.

— Не умеешь, не ездят! — продолжал тот, нервно захлопнул дверцу и, объехав «Москвич», рванулся на зеленый.

— Фордадуй! — показала ему вслед язык Антонина. — Кати, кати, пижон. Ишь, понесло его! Раз у нас машина слабже, так можно и плевать на нас? Буржуй! Не обращай внимания, Федя.

Сзади раздалась нетерпеливые гудки: зеленый свет зажегся, проезжайте.

— Эх, черт! — Федя включал зажигание, но мотор не заводился.

— Опять двадцать пять, — всхлипнул Игорь Антонович. — Не везет, так не везет!

Антонина вспомнила трешку, отданную таксисту, и пожалела, что зря потратилась.

— Кажется, свечи залило, — деловито сообщил Федя. — Надо обождать немного.

— Подождем, — согласился Игорь Антонович. — Только на перекрестке стоять — постовому глаза мозолить. Толканем ее к обочине.

Все вышли из машины, уперлись в кузов и поднатужились. «Москвич» довольно легко сдвинулся, бесшумно поехал. Федя, просунув руку в открытое окно, направлял руль. Минут через десять попытались завести опять. Результат прежний: машина дернулась и только.

— Эхма! — досадливо произнес Федя, выйдя из машины, и в сердцах стукнул по крылу «драндулета». Рука его провалилась. Он глянул и обмер: в блестящем салатном корпусе «Москвича» зияла дыра величиной с его ладонь. Прежний хозяин, видать, здорово потрудился, латая проржавелый кузов, заклеивая и замазывая очевидные следы времени.

— Вот жулик! — сказал Игорь Антонович о прежнем владельце. — Вот прощелыга! За такие деньги что имеем! «А все она, — подумал он про жену. — Ишь, барыня, машину ей надо. Получила?»

— Как же теперь ездить... на дырявой? — воскликнула Антонина.

— Печальное обстоятельство, — удрученно чесал в затылке Федя. — Но поправимое. При-

едем, я эпоксидку достану, заделаем в два момента. Подкрасим. Все будет путем.

— Как доедем-то, если не заводится? — взвыл Игорь Антонович.

— Я ей сейчас вделаю один прием, — сообщил Федя. — Меня в армии друг научил. Вот увидите. — Он снова полез под капот.

Антонина сидела на каменном бордюре и вздрагивала, когда в машине начинало шуметь.

— Ну ладно, — сказала она. — Вы тут заводитесь, а я на электричку пойду. Сил моих больше нет. Я над огурцами два месяца колдовала не для того, чтобы они повыхсохли.

— Видишь, роднуля, я тут не виноват, — разводил руками Игорь Антонович. — Однако ты мне денегжат оставь... на всякий случай.

Антонина сердито вынула из кошелька пятерку и сунула мужу:

— Без дела не расходуй!

— Сумочку оставь, — предложил муж. — Я привезу.

— Здесь харчи, — отсекала Антонина порыв.

— Брюкву не пропалывай, я сам, — уже вслед ей кричал Игорь Антонович.

Жена не обернулась. Села в автобус и уехала.

Тут «Москвич» завелся, заурчал, недовольный, что его вынудили-таки заработать.

— Баба с возу! — весело хихикнул Игорь Антонович. — Надо же!

Они поехали догонять автобус.

— Вот он! — указал Игорь Антонович вперед.

Автобус повернул направо. Федя тоже вырулил направо. Раздался переливчатый свисток.

— Неужели нарушили? — Федя машинально сбавил скорость и прижался к обочине. Остановив машину, он тяжело выдохнул.

Игорь Антонович зашарил по карманам в поисках документов. Таковых нигде не было. И он вспомнил, что распорядительная жена сложила его права и техпаспорт в целлофановом пакете на дно хозяйственной сумки, чтоб не потерялись. Игорю Антоновичу стало страшно:

— Все, Федя, сейчас нас заштопают. Дебет с кредитом не сошлись.

Оба приготовились стойко выдержать нарекания автоинспектора.

Свисток повторился. Мужчины увидели из окна мальчугана возле табачного киоска с красной пластмассовой свистулькой во рту. Тот ехидно улыбался.

— Ах, чертенок, напугал! — рассердился Игорь Антонович. — Уши надрать паршивцу. Ишь, забавляется! — Он собрался выйти.

— Да бог с ним! — остановил его Федя. — Поехали, а то автобус упустим.

— Мы его уже упустили, — ответил Игорь Антонович. — Не судьба. И знаешь что, поехали до дому.

— А Антонина Петровна?

— Доберется без нас. Огород польет, будь он неладен!

— Как желаете, — согласился Федя, выруливая на дорогу.

На кухонном столе белела Люсина записка: «Мы гуляем». Поскольку она была без обычного ласкового обращения, Федя понял, что на него осерчали. Но в эмалированной кастрюльке были еще теплые зеленые пахучие щи, и он решил поесть.

В дверь позвонили.

На пороге стоял Игорь Антонович и застенчиво прижимал к груди белоголовую.

— Понимаешь, какая штука, — сказал он. — Антонина забыла на сиденье. Я и думаю, все равно жизнь пропащая. Ты один?

Мужчины сидели за узким обеденным столиком на кухне и оживленно беседовали.

— Да много ли надо нам двоим-то? — говорил Игорь Антонович. — Ну морковки, ну там редиски, лука грядку, еще чего — и все! Куда ж такую прорву насаживать? Земля ведь ухода требует, труда. А где время взять, силы? Дурная баба. Давай-давай! Сажай! Поливай! Ты, Федя, счастливый человек. Нет у тебя этой собственности. Гуляй себе в парке. Никаких забот.

Федя смутился:

— Да мы вообще-то подали заявление на участок. Но говорят, вы у нас не долго работаете, есть другие — заслуженные.

— Правильно сделали, что подали, — одобрил Игорь Антонович. — На природе хорошо. Воздух. Птицы. Ребенку благодать. Это хорошо.

— Ждать, говорят, долго. Желающих много.

— Забурел народ. Красивой жизни все хотят. Чтобы и садик свой, и машина. А ведь лет... сколько-нибудь назад скажи мне: Игорь Антонович, будешь ты частником, я бы не поверил. Ведь как жили? Во что одевались? Как питались? Нужда была во всем. Ничего лишнего. А теперь? У меня одних сорочек двенадцать штук в шифоньере лежит. Разве их все ношу? Нет, конечно. Нейлоновые не в моде. Врачи теперь говорят, нейлон вредный. Выкинуть жалко. За все уплочено.

— У меня Люся из старых рубах наволочки шьет. В японском журнале вычитала полезный совет.

— Японцы народ практичный. Из всего выгоду сделают. Вон как в технике выскочили.

— Транзисторы у них хорошие.

— А машины! Едет такая «Тоега» — футы, ну-ты! — Игорь Антонович вспомнил своего «Москвича» и вздохнул.

— Мы похлеще умеем делать. Только у нас трудности.

— Ты-то послевоенный. А я помню и голодуху, и разруху. И как хозяйство восстанавливали. Молодые этого не знают. Они на готовом выросли.

— Матушка на праздник картофельные блины пекла. Тогда казалось, ничего вкуснее нет.

— На прошлой неделе у нас в гастрономе омаров продавали. Во льду. Изысканная вещь! Дороговато, конечно. Не вобла какая-нибудь. Буржуазный деликатес. Кое-кто по три кило брал, представляешь?

— В этом омаре одна оболочка, а мяса —

грамм. Я знаю, меня товарищ угощал. Наши крабы не хуже.

— Лучше!

Мужчины мечтательно затихли.

— О! — вспомнил Федя. — У меня ж квас в холодильнике имеется. Желаете?

— Из холодильника боюсь. Заболею в два счета. Потом таскайся по врачам. Хотя... давай по глотку.

Трехлитровая банка темного квасу отплевала посреди стола. Недоеденные щи в двух тарелках подернулись жировой пленкой. Мужчины рассуждали.

— А вот один писатель, — вспомнил Игорь Антонович, — рассказывал у нас на вечере. Значит, пригласил его какой-то канадец к себе на виллу. Показывает нашему свой дом, хозяйство. Вот, говорит, гараж. В нем три машины: моя, жены и сына. У каждого, значит, по автомобилю. Еще, говорит, у меня маленький фургон есть для хозяйственных целей.

— Во живут! — заметил Федя.

— Буржуазия. У них так.

— Ну и дальше чего?

— Потом этот капиталист показывает: вот у нас столовая, вот спальня, вот зала для гостей, вот мой кабинет. Комнат десять показал. А нашему писателю обидно стало, и он говорит: у меня тоже и кабинет, и спальня и все другое есть. Только между ними перегородок не поставили.

— Я этот анекдот сто лет знаю.

— Вовсе не анекдот, — запротестовал Игорь Антонович. Смешно, конечно. Но я же своими ушами слышал.

— Писатель — он же сочинитель. То есть выдумщик. Выдумает, запишет. А мы читаем и верим.

— Не скажи! Вон Лев Толстой как писал. Все правда! Мне на пятидесятилетие подарили его книгу. Мы с Тоней вслух читали. Очень проникновенно.

— То Лев Толстой. А то — какой-нибудь Фитюлькин.

— Фитюлькина не читай.

— Как же не читать, если он в продаже всегда, а Толстой никогда? Дефицит.

— Что верно, то верно. Дефициту нема. Забурел народ. Подай ему это, подай то. Да все чтобы высшего сорта.

— За что боролись, — заметил Федя.

— За что боролись, то имеем. Но ведь человеку все мало. Норовит побольше захватить. Для-ради чего?

— Лично мне много не надо. Квартира есть. Зарабатываю нехудо. Конечно, хочется иной раз жене что-нибудь купить на радость. Да за модой не угонишься. Я ей духи куплю французские на день рождения. Пускай душился!

— Не вижу разницы, что французские, что наши. Только что фасон и дороже.

— Франция — законодатель моды.

— Видел я эту Францию. Приезжала к нам в управление торговли представительница фирмы из Руана. Француженка. Я разглядел ее — женщина как женщина. Не намазанная. Костюм кримпленовый. У моей Тони лучше есть.

— Заграничная жизнь нашему человеку непонятна.

— А им наша жизнь понятна? Ничего подобного. По радио один выступал — немец, что ли, или испанец. Говорит: загадка русской души. Хочу постичь. Чепуха! У русского человека душа вот тут находится, — Игорь Антонович похлопал себя по загривку. — Как сказано у Пушкина: вынесет все, и широкую ясную... — Игорь Антонович запнулся. — Дальше не помню.

— Это Некрасов написал.

— Именно! Сколько на нас перло, сколько кромсало. Вынесли все.

— Выдюжим и в очередной раз, если понадобится.

— Была бы моя воля, сказал бы я этим американцам; кончайте играть с огнем. Неужели вам жить неохота?

— Еще как охота при ихнем-то изобилии.

— Изобилее у богатых. Они с жиру бесятся. А трудяги бастуют, сопротивляются.

— А хорошо бы побеситься маленько. С жиру. Ради интереса.

— Так не шутят, Федя. Узнал бы ты ихнюю жизнь, призадумался бы. У них преступность, мафия разная, проституция — не приведи господи! Мы живем хорошо. Вот клубнику Тоня соберет, повезу товарищам корзину, угощу. Им приятно, мне радость. А что, много мне надо? Машину налажу и буду ездить за милую душу. До пенсии всего ничего осталось. Живи — радуйся.

— Мне бы сейчас пару тысконок на хозяйство не помешало, — вздохнул Федя. — Да где взять?

— Ты молодой. Будут у тебя тышонки, заработаешь. Еще и машину купишь.

— Да уж... — недоверчиво протянул Федя.
— А вот увидишь. Жизнь вперед движется. Войны не будет — все будет.

— В Сингапуре какого-то турка убили. Дипломата.

— Аллах с ним! Плесни кваску маленько.

Люся с дочкой, гуляя, завернули к матери и застряли в шумном родительском доме. «Пусть поволнуется! — думала она о муже. — Бросил нас на весь выходной».

Антонина Петровна полила огород. Собрала миску первой созревшей клубники, присела отдохнуть на покосившуюся у плетня скамеечку и задумалась. «Мужик один без жены на машине. А ну как завихрится старый козел за какой-нибудь юбкой?» Она слегка забеспокоилась, потом вспомнила, что брюква еще не прополота, и кряхтя поплелась вдоль грядки.

Маленькая птичка бесстрашно кружила рядом, садилась на взрытую землю и склевывала червячков.

«Отважная!» — думала Антонина Петровна и старалась не делать резких движений, чтобы не спугнуть гостью.

Выходной день клонился к вечеру.

Среда

Тихон Иванович Козлов, мужчина предпенсионного возраста, прозванный в округе Козлом, стоял на крыльце рубленого садово-

го дома и прислушивался: у соседей опять гости. Слышались веселые голоса, смех. Тихон Иванович подтянул вздувшиеся на коленях тренировочные штаны, сплюнул в сторону соседских кустов и пошел в дом.

— Курей накормил? — спросила жена, накрывая на стол.

— Пятый раз талдычишь об одном! — рявкнул мужчина. — Ну, накормил!

— Ты че злой опять? Уж и напомнить нельзя?

— Давай ужинать, — отрезал он.

— Садись, все готово.

Тихон Иванович удовлетворенно оглядел сковородку жаренного с луком и салом картофеля и удивился:

— А маленькую?

— Здрасьте! Вчера всю доконал, — напомнила жена.

— Что же ты не сказала? Я бы в ларек сходил.

— Обойдешься! Каждый день повадился. Что, у тебя карман без дна?

— Не могла сказать! Ух!

Тихон Иванович помрачнел: какая жизнь без «маленькой»! Ведь он теперь с трезвой башкой разве заснет? «Черт-те что, а не жизнь получается. Гробишься на этом участке как проклятый. А тебе и выпить нету. Так и до пенсии не дотянешь».

После ужина он решил осуществить задуманное. А именно, написать заявление в правление садового товарищества. Он должен вывести этих Смирновых на чистую воду. Он уже пытался выступать на общих собраниях, но все почему-то дружно смеялись

его словам. Что их так подмывало, он понять не мог. Но душа его горела и искала справедливости. Он взял бумагу, разыскал шариковую ручку и задумался — как-никак документ. Писать нужно серьезно.

— Ты чего это уселся? — спросила жена и устало зевнула. — Писать что будешь.

— Койку постелила, ну и иди спи! — приказал муж.

Она махнула на него рукой и ушла.

«Граждане члены садового товарищества! — торжественно начал Тихон Иванович. — У меня душа переворачивается на разные безобразия. К примеру, моя соседка Смирнова огородила свой участок густой малиной. Спрашивается, как же через нее ходить в лес, если кустарник колется? — Тихон Иванович сердито засопел. — Мы люди простые, не какие-нибудь кандидаты наук, нам в лес регулярно бегать надо. А она, Смирнова, говорит, что природа — храм, а не отхожее место. Конечно, им нравится под деревьями воздухом дышать. Они даже листья сгребают, сухие ветки спиливают и болото песком засыпают. Все для себя стараются, чтоб было где складной табурет ставить и научную работу писать. Смотрите, мол, какие мы ученые! — Он хмыкнул и подумал: «Нет чтобы «Маяк» врубить и слушать весь день мелодии и ритмы!» — Им тишина нужна! Они птиц распугивать не хотят. А сами просто завидуют, что у меня петухи породистые. И тоже поют. Я курятничек как раз напротив ихней веранды возвел — от него дух посильней всякого жасмина. Имею право. А то еще указывают, что я за габариты вышел. Да, у меня крылечко

тринадцать квадратов. Ну и что? Картошку-то куда мне складать? В хозблок? Так у меня там стройматериал хранится. Что же, мне при одной веранде оставаться? А где яблоки сушить, я спрашиваю? Ведь они у меня каждый год половина сгнивает. Я свой пот и кровь разбазаривать не стану. Это вон Смирнова людям раздает, к ней всякие на машинах приезжают. Шашлыки жарят. Пахнут сильнее моего курятника. О пожаре не думают. А вдруг из этого мангала уголек высыпется, и в кране воды не будет (к примеру, сеть отключили), и в баке дырочка окажется, и ведро с песком далеко, и в стране засуха, ведь тогда может случиться бедствие. А наши дома рядом! — Тихон Иванович нахмурился, но тут же вспомнил, что вырытый им подпол для хранения овощей полон грунтовой воды, которая, конечно, все испортила. Зато прямо под ногами имелось настоящее водохранилище. — Мне того шашлыка вовсе не хочется. Просто я видеть не могу, как женщины голые загорают — в одних сарафанах без спин... К примеру, у Смирновой гости нарочно научными словами перебрасываются, когда огород полют, чтобы я за сараем ничего не понял. А я человек простой, разговариваю громко, чтоб слышать было. И если называю свою жену дурой, так в этом ничего таинственного нет. Всем понятно. — Тихон Иванович отложил ручку, потряс рукой — от непривычки пальцы затекли. — Они меня своей культурой душат. В прошлом году я машину коровяка на проезжую часть вывалил. Думаю, сезонов на пять хватит удобрения. Так они нарочно с другой стороны ездить стали, что-

бы колеса не пачкать. Мусор в целлофановых пакетах держат, чтобы мух не привлекать. Это ж придумать надо! Конечно, у них машина. Они могут. Они пакеты с собой увозят да по дороге небось в кювет кидают. Что забудут выкинуть, в землю зарывают, говорят, в санитарных целях. У меня машины нет, так что я свой мусор к воротам ношу. Ночью. Пусть те, которые на машинах, вывозят. А мне некогда на общественных работах ломаться, дорогу ремонтировать, площадку детскую оборудовать (у меня лично дети повзросли уже). Я на своем участке пятнадцать лет порядка навести не могу. Это вон пусть Смирнова старается, у нее в саду все ухожено. Это она награды за труд получала. Это к ней персональная неотложка приезжала, когда у нее сердце зашло после того, как я ей все высказал. Имею право. Я человек простой и не заслужил, чтобы со мной не разговаривали.— Тихон Иванович припомнил, как однажды соседи в лес ходили за грибами. Вернулись с пустыми корзинами. И он, увидя такое, тихо порадовался: «То-то! Грибные места знать надо. Я знаю — шиш покажу!»

Так что надо ей указать, Смирновой, пусть не думает, что я хуже всех и не понимаю красоты. Но мне обидно. А чего я прошу? Ничего не прошу. Только пусть меня поймут, какой я человек. Если что — я могу. Только пусть мне скажут: «Вы, Тихон Иванович, хороший, справедливый человек. Мы вас уважаем!»

Он не закончил писания, потому что вдруг подумал, что у Смирновых наверняка бутылочку откупорили. «Шашлыки-то красненьким

запивают!» Он почесал затылок, обвел глазами комнату и приметил на комодѣ блюдо с красной клубникой. И решился...

Через две минуты он стоял в дверях смировского домика с блюдом в руках:

— Слышу, у вас праздник обратно. Вот угощайтесь. Первая.

— Какая крупная! — оценил один из гостей.

— Как картошка! — присоединился другой.

— Мы ее удобреньицем, — объяснил Тихон Иванович. — Стараемся. Культивируем.

— Проходите, пожалуйста, — пригласила его Смирнова-старшая. — Садитесь с нами чай пить. Настоящий цейлонский.

— Да... чай-то оно ничего, конечно, — заколебался Тихон Иванович. — Чай пить — здоровым быть.

— У нас и покрепче есть, — быстро понял его гость. — Вот! Армянского разлива.

— Богато живете, — одобрил Тихон Иванович и бочком двинулся к столу.

— Перед вашей клубникой все меркнет, — сказали и потеснились, давая ему место.

Комната была «квадратов двенадцать» площадью, тесная, но светленькая, в веселых обоях. Кроме стола и стульев имелся холодильник «Морозко», на который Тихон Иванович глядел, не скрывая презрения.

Ему налили маленькую тонкую рюмку. «Как раз на один глоточек, усы смочить», — скучно подумал Тихон Иванович, но угощение принял.

Хозяйка и гость между тем продолжали прерванный разговор. Остальные доедали пе-

сочный торт, лакомились клубникой и не без интереса слушали.

— Если следовать твоей теории,— говорил гость Смирновой-старшей,— то во избежание полного оскудения природных ресурсов нужно немедленно прекратить добычу полезных ископаемых. Так, что ли?

— Да нет, конечно. Не надо преувеличивать. Просто назрела необходимость строгого контроля за состоянием природы. Ты понимаешь, о чем я говорю. Мы научились брать. Брать столько, сколько позволяют нам возросшие технические возможности. Мы берем без оглядки. Но природа исчерпаема. Когда-нибудь ее несметные запасы иссякнут. И что потом? Голодная пустыня.

— Это ты преувеличиваешь, а не я. Во-первых, футурологи утверждают, что мы еще мало берем и что будем брать гораздо больше. Ты думаешь, мы одни с тобой такие умные — все поняли? Ошибаешься. С научной точки зрения наши рассуждения есть дилетантство. Ты печалишься о затоптанном осиннике и горах мусора по оврагам, а взять проблему в глобальном масштабе не можешь, потому что не знаешь статистики.

— Да я только лингвист. Но есть вещи, которые должны быть понятны всем и беспокоить всех.

— Я тоже заболеваю, когда сталкиваюсь с бесхозяйственностью. Но все не так страшно, как ты пытаешься доказать. Насчет голодной пустыни — поживем, увидим...

— Мы-то поживем. На наш век хватит. А потомкам? Мы потребители. Берем — и ничего не даем взамен. Нам необходимо

перевоспитание. Нужно изменить нашу психологию.

— Куда хватила! Психологии нет без экономики. А тут, знаешь, все не так просто. Однако, что тебе мучиться? Ты как раз не из потребителей. Ты-то как раз даешь больше, чем берешь. Вон какой сад вырастила!

— Если бы не морозы да ливни — был бы он втрое краше.

— То-то. Я и говорю.

Когда Тихону Ивановичу налили в третий раз, он с удивлением отметил, что в бутылке вроде бы и не убавилось совсем. «Научный фокус», — решил он и не стал мешкать.

Через полчаса, устав слушать о каких-то миграциях и дифференциациях, смиренно «добрав» остатки коньяка, Тихон Иванович пошел к себе. В голове у него звенело, шумело, мельтешило.

Он сел к столу перед неоконченным листом, взял ручку и приписал строгим, почти без помарок, почерком: «Сознаюсь. В прошлом году взял из общественных саженцев две яблони сорта коричневая полосатая. Сказал, что их не было. А они были. Обязуюсь уплатить стоимость. Прошу извинения. Больше не повторится. В чем и подписуюсь. Козел».

«Козла» он зачеркнул и написал полностью: Тихон Козлов.

Укладываясь на ночь, он представил, как завтра жена спросит недовольно:

— Иде ж клубника? Я варенье варить собралась.

А он ответит:

— Сперва старое доешь! Вон у тебя банки пятилетние стоят, уже позасахарились. Дура!

Потом подумал и решил: «Дурой звать не буду. Зачем? Некультурно. Что же я, хуже других, не понимаю, что в среде живу? Очень даже понимаю. Чай тоже грамотный». И заснул.

Хромая утка

Прошло только восемь дней, как мы с сыном приехали на море, а кажется, что мы здесь давно. Пышный расслабляющий юг восторгает первые дни, потом привыкаешь к теплу, к солнцу, к растительной экзотике. Если бы не сын, больше десяти дней я бы тут не задержалась. Но Сереже необходим здешний климат: осенью он идет в первый класс, нужно закаливать бронхи. И мы закаливаем. Целый день с перерывом на обед мы на море. Сын барахтается в мелководье среди себе подобных. Я пытаюсь загорать на топчане так, чтобы не упускать его из виду. Загораю в основном спиной, потому что в воде сын бывает гораздо дольше, чем на берегу.

Вот и сейчас ему пора уже вылезать, у него посинели губы. Я машу ему рукой, но он намеренно не смотрит в мою сторону. Безобразный мальчишка! Я беру детский махровый халат и поднимаюсь с топчана. Придется лезть за ним в воду, не кричать же на весь пляж, как некоторые родители.

Сын дрожит от холода, надевая халат, но торопится выклянчить «еще разочек» до обеда. Мне не жалко, пусть плавает, но сперва как следует обогреется на солнце. А я пока нормально позагораю.

Я ложусь на спину.

Сережа, конечно, сидит возле меня не больше минуты. Спросившись, он сбрасывает халат и отправляется строить подземный «самолетный гараж» из влажного морского песка. Их там, строителей, целая стайка — все строят: таскают в целлофановых пакетах морскую воду, поливают песок и создают. Мне их видно. Каждые две-три минуты я поднимаю голову и всматриваюсь в кучу детских спин. Отличить своего ребенка от чужих бывает сложно. Все спины загорелые, на всех головках светлые панамки, у всех пестрые трусики.

Несколько раз я обливалась холодным потом, не найдя своего мальчика среди других. Вскакивала, шла к детям и, завидя, наконец, его, долго не приходила в себя. Он у меня один. Других не будет.

На пляже я не могу читать или вязать. Я могу только смотреть и думать.

Пляж уникальное место для наблюдения за людьми и их повадками. Невдалеке от меня расположилась семья. Жена, видно, очень капризная особа, любит руководить. Мужа она не оставляет в покое ни минуты. «Толя, поправь Жорику маечку!», «Толя, посмотри, что Жорик взял в рот!», «Толик, ну что ты спишь!». Бедный Толя, едва углубившись в газету, вскакивает и что-то подает, поправляет, отодвигает. Представляю, с каким облегченным вздохнет То-

лик после отпуска. А может, и не вздохнет. Может, он привык.

Чуть подалее сидит бабушка с внучкой и каждые десять минут что-нибудь скармливает ребенку, вытаскивая из обширной сумки то сосиску, то крутое яйцо, то пирог. Дитя довольно равнодушно сжевывает предлагаемое, иногда только, когда уже совсем не лезет, отрицательно мотает головой и мычит, поскольку рот полон.

А вот еще образчик. Мужчина в возрасте между тридцатью пятью и пятьюдесятью годами. Точно возраст не определить. Потому что южный загар молодит человека. Походка вольного от семейных тягот гражданина. Целенаправленный взор сердцееда. На детский пляж он забрел ввиду легкого успеха у молоденькой мамыши, той, что сегодня сидит рядом со мной.

Я, конечно, не намерена прислушиваться к их беседе. Я поднялась и пошла к сыну участвовать в его строительстве.

Дети вели себя как дети. Они были по уши в песке. Некоторые хитрецы намеренно вываливались в песке, а потом бежали к родителям, требуя купания, «чтобы смыться». У нас с Сережей этот номер уже не проходил, и сын честно корпел над своим детищем, выгребая песок из глубокой норы. Время от времени нора проваливалась, и приходилось начинать все сначала. Важен был процесс, а не результат.

Когда я вернулась, молодая мамаша сидела одна и курила сигарету. Конечно, мне нет никакого дела до чужих привычек. Пусть курит, если ей это нравится. И все же... Одна

догадка возникла у меня. Вот она курит. Она молода. К ней приваживается какой-то тип с разговорами.

А у нее ребенок — калека.

Я видела своими глазами. Сперва не поняла, в чем дело. Девочка лет шести с ангельским личиком, с косичкой на затылке. Вроде бы все на месте. Но левая ручка чуть-чуть короче правой, кисть и пальчики искривлены. Малышка все делает правой рукой, здоровой. А левой управляет по необходимости. Левая неправильная рука. Мне вспомнилась туристская поездка в Испанию. В древнем городе с прекрасными соборами на солнечной площади белые стаи голубей, пестрые палатки продавцов голубиного корма и дешевых сувениров. И группа калек. Они приехали на экскурсию или на прогулку, не знаю. На них больно смотреть: неестественно разросшиеся части туловища, нелепые отросточки вместо рук, грушевидные головы. Они тоже бросали корм голубям и смеялись, и радовались всему. Это были жертвы какого-то шарлатанского лекарства для беременных. Зрелище жестокое.

И вот эта девочка. Сейчас она помогает Сереже: поливает водой песок, заинтересованно льнет к остальным детям. Видно, ущербность свою она уже почувствовала, иначе не откликнулась бы с такой готовностью на всякое предложение сверстников, не сносила бы их нетерпеливые толчки.

А мамаша сидит и курит.

— Извините, у вас нет спичек, а то сигарета погасла. — Соседка обратилась ко мне.

Она смотрела ясно и кротко.

— Я не курю,— ответила я как можно вежливее.

— Вечно что-нибудь забываю,— оправдывается женщина.— Сегодня спички. Вчера книгу.— Она провела ладонью по обложке толстого темного тома.

На корешке ясно читалось название: Медицинская энциклопедия.

«Ничего себе! — подумала я.— Медицинскую литературу читает, а не знает, что матерям курить вредно. От этого ее ребенок и пострадал, наверное».

Соседка словно прочла мои мысли.

— Вы правильно делаете, что не курите. А я уже не могу отвыкнуть.

Голос у нее был грустный. Мне показалось, что она одинока. А может быть... Фантазия моя разыгрывалась. Но я вовремя остановилась. Какая только ерунда не лезет в голову. Чего проще — взять и спросить: мол, отчего у вас ребенок такой? Но разве можно задать подобный вопрос матери? Нельзя этого делать. И я не спрашиваю.

Не знаю зачем, но эта кротость в глазах соседки толкнула-таки меня на разговор с нею.

Я узнала, что она инженер-технолог на химическом заводе. Что ее муж в данный момент бьется над кандидатской диссертацией «в сфере математических наук». Что у них прекрасная двухкомнатная квартира в Ленинграде. А «этот, что подходил недавно», — сосед по номеру в гостинице. Стихи читает, рассказывает о молекулярной биоло-

гии. Не лезет. Кто он такой, бог его знает. Называет себя Веннамином.

— Мы скоро уедем отсюда. Там ни тепла, ни цветов.— Соседка вздохнула.

— Ленинград удивительный город,— сказала я.

— О да! — подтвердила соседка.

Что-то у нее в жизни не так, подумала я и спохватилась, ребенок! Как бы я себя чувствовала, будь мой Сережа калекой? Я посмотрела на копошащихся детей, заметила сына и успокоилась.

...Через день заштормило. Поразительная картина: огромные волны разбиваются обетонные сваи причала и рассыпаются фонтанами белых брызг. Солнце сияет. На небе ни облачка. А море бушует. Детский пляж наполовину заливают набегаящая вода. Мы с Сережей ходили вдоль набережной, смотрели на волны. «Ну, мамуля, я только чуть-чуть подойду и убегу», — просил сын, с завистью поглядывая на подростков, опасно близко игравших возле волн. «Ни в коем случае!» — я была непреклонна. Наконец, мы решили только посидеть на берегу и спустились к пляжу.

На прежнем месте устроилась моя знакомая. Она сидела ссутулившись и, конечно, курила. Я хотела остановиться поодаль, но она повернула голову и узнала меня. Наш топчан был свободен. Я расстелила полотенце, повесила сумку на крючок под навесом, сбросила тапочки — обычный, ежедневно повторяемый обряд.

Сережа рванул к воде.

«Если ты намочишь тапочки», — предупре-

дила я его и пригрозила пальцем. «Нет-нет! я только побегаю близко!» — заверил сын.

— А мы завтра уезжаем, — сообщила соседка. — Все, прощай, солнце. Знаете что, — предложила она. — Вы не выпьете со мной шампанского?

Я на нее удивленно уставилась.

Она улыбнулась и раскрыла сумку: там стояла бутылка.

«Лихая мамаша», — подумала я и неопределенно пожала плечами.

Соседка вытащила два бумажных стаканчика, наполнила. Я невольно оглянулась на сына: не видит ли? Сережа в компании других ребятшек подпрыгивал у воды, хлопая в ладоши от восторга. До меня ему сейчас не было дела.

— Выпьем за здоровье Валериана Николаевича! — предложила соседка.

Шампанское кипело пузырьками и шипело. Я быстро выпила вместе с соседкой и вернула ей стаканчик.

— А кто такой Валериан Николаевич? — поинтересовалась я о опозданием.

— Это бог, — ответила соседка и снова потянулась за сигаретой.

Я приготовилась к разъяснению — в каком это смысле?

И соседка рассказала.

— Два года назад, когда мы с мужем уже отчаялись, когда доступные нам доктора отказались что-нибудь сделать для ребенка, один знакомый рассказал, как другого его знакомого вылечил хирург из провинциальной больницы. Бедняга попал в дорожную

аварию. Ему залечили переломы, вывихи и плюс еще ко всему удлинени ноги, которая от рождения была короче. Представляете? Мы с мужем, конечно, кинулись в этот городок. Нашли хирурга — того самого. Он говорит, я детей не оперирую. Мы ему чуть не в ножки стали кланяться. Вы знаете, объясняет, сколько времени займет лечение? Мы отвечаем, ребенок маленький, вся жизнь впереди, времени хватит. Он говорит, я целый год должен наблюдать пациента. Хорошо, мы согласны. В общем, уломали... С работы я уволилась. Сняла в том городе комнату, нанялась в больницу няней — чтобы всегда возле Леночки быть. А больница — боже мой! Старая-престарая. Я и не знала, что еще такие бывают. Зато народ удивительный. Персонал ко мне с сочувствием отнесся, девочку мою заласкали.

Работала я по две смены, каждый день. Торопиться ведь некуда. Палаты мыла, санузел и все-все. Кое-где даже покрасила. Купила краску и покрасила. Мне говорят, зачем вы расходуетесь? А разве это расход! Больным нужна чистота. Потом Валериану Николаевичу понадобились какие-то заготовки из нержавеющей стали. Он ведь сам конструировал свои аппараты. Я мужа организовала. Он, бедный, покрутился. Через десять руки достал.

Женщина взяла стаканчики из сумки, посмотрела на меня вопросительно:

— Давайте еще?

— Неудобно как-то, — ответила я, колеблясь. — Дети рядом.

— Они не заметят.

— Пожалуй, — согласилась я, предполагая, что услышу рассказ до конца.

Соседка продолжала:

— Первая операция прошла довольно легко. Но Леночка, когда услышала, что ей с железками придется жить — он ей установил растяжку в плечевом суставе — разнервничалась. Долго плакала. Я сама обревелась. Ведь все вслепую делалось. Без гарантий. Валериан Николаевич вызвал меня, отчитал. Сказал, что, если не буду держать себя в руках, откажется иметь с нами дело. Я взяла себя в руки. Но начала курить. Однажды иду из больницы ночью. Холодно. Снег скрипит. Звезды огромные на небе. Слышу, за мной кто-то следом идет. Я шаг прибавила. Там тоже участились. Я бегом. Шаги приблизились. Догоняет меня мужик. Вином от него разит. Что-то мычит и за рукав хватает. Ох, какое меня зло взяло. Развернулась и прямо по шапке его кулаком. Отбилась. Домой пришла, вся дрожу. Да это пустяки, впрочем. Хуже дело было. Начались какие-то проверки. То одна комиссия приедет, то другая. Трясут нашего Валериана Николаевича, чуть не в знахарстве его обвиняют. А он столько безнадежных на ноги поставил! У него свой метод разработан. Он, оказывается, написал статью о своих результатах. Статью не напечатали. Говорят, сначала надо убедиться, что написанное соответствует действительности. Валериан Николаевич вспылil. Проверяйте, говорит, только не мешайте работать, и написал докладную в райздрав, что его не обеспечивают новой аппаратурой, что давно ремонта не делают, что о новом помещении

для больницы и речи нет. В общем, разозлил многих. Жить нам стало неудобно. Год прошел после первой операции. Нужно ехать на повторную. Пока ребенок маленький, растет, многое можно поправить... Если она такая останется на всю жизнь, я себе не прошу.

Я подхватила:

— Конечно, надо делать все возможное. Вам такой врач способный попался. Это удача.

— Да, удача, — согласилась она. — Но как представляю себе эти мрачные серые палаты, какие-то запахи... — ее болезненно передернуло. — Там такие больные бывают, безнадежные, с такими болячками — упаси боже! Вот я смотрю здесь на некоторых. Лица недомольные, сердитые. Кругом солнце, благодать, а они на что-то злятся. Здоровые, крепкие, с руками, ногами. Кажется, чего еще нужно? Приехали — отдыхайте, радуйтесь. Куда там.

— А по-моему, на курорте народ добродушный.

— Многие расслабляются. Впрочем, некоторые чересчур.

— Вроде вашего гостиничного соседа? — заметила я и тут же упрекнула себя за бестактность. Очевидно, шампанское подействовало.

— Он сделал мне предложение, — спокойно сообщила женщина.

— Ему известно, что вы замужем?

— Он прощупательный оказался и угадал, что я одинока, хотя и замужем. Мы с Андреем зарегистрировались после рождения Ле-

почки, понимаете? Это был «жест благородного человека». Когда ему сказали, когда он увидел, — женщина закусил губу, и мне показалось, что она сейчас заплачет. Но она только встряхнула головой и глубоко втянула в себя дым. — Он сказал, это я породил. Это мое будет. Стал растить Леночку.

— Вы не волнуйтесь, — попыталась я ее успокоить. — Вам досталось. Я понимаю.

— Не в этом дело, — отмахнулась она. — Не собираюсь я ни замуж, ни разводиться. Хочу, чтобы мою девочку не отпихивали здоровые дети. И не хочу, чтобы над ней жалостливо причитали.

— Вы напрасно расстраиваетесь, — сказала я. — У вас очень милая дочь. Я как-то и не сразу заметила, что у нее с ручкой неладно.

— Правда? — спросила женщина, и в ее вопросе было больше надежды, чем недоверия. — Это все Валериан Николаевич! Год назад было хуже. И пальчики у нее слабо шевелились. А теперь гораздо лучше. Это такой хирург! На него молиться можно. — Она улыбнулась: — Я ему выписала «Всемирные новости медицины». Он так радовался. Очень сложно было выписать. На английском языке. Деньги за подписку мне вернул. Девять рублей. Мой принцип, говорит, с пациента ни копейки. Моя свекровь тоже принципиальная: не берет с сына ни копейки, зато внучку видела один раз — в роддоме по телевизору. Сын приносит ей на день рождения очередную хрустальную вазу и выслушивает причитания о том, как я загубила его жизнь.

Женщина поболтала бутылку, там немного плеснулось на дне.

— А знаете, — сказала я. — Наверное, я могла бы вам помочь. У меня в медицинском мире есть знакомые. Один даже академик. Его дача недалеко от нашей. Мы ему саженцы давали.

— Академик — это хорошо, — сказала женщина. — Только у нас уже есть Валерьян Николаевич — золотые руки. Нам его терять нельзя. Спасибо, что выпили со мной, выслушали. Мне легче стало. Мы вот уедем и никогда не встретимся с вами. И хорошо. Мне стыдно, что я расхлюпалась перед вами.

— Ну что вы! Я понимаю...

— Я видела, как вы на меня посматривали. Осуждающе. А я вам завидовала. Вы такая спокойная, довольная. Мальчик у вас хорошенький. Когда наши дети вырастут и вдруг захотят пожениться, вы, конечно, скажете сыну — не нужно, она калека.

— Что-то вы не то говорите, — сказала я, но почувствовала неловкость. Захотелось встать и уйти.

Моя знакомая сама поднялась, сложила в сумку детские вещи, лежавшие в изголовье топчана, и поискала взглядом дочь.

Кучка детей визжала и прыгала у воды. Там был и мой сын, и ее девочка. Очередная мутная волна выкатилась на пляж, перемешала мелкую гальку с песком и, шурша пеной, откатилась обратно в море. Ноги у детей, конечно, были мокрые, но шалуны старались этого не замечать.

Женщина подошла к девочке, что-то сказала ей. Та насупилась, но покорно пошла

следом за матерью. Больше я их не встречала...

Через две недели мы вернулись домой, отдохнувшие и довольные. Только одно мешало приятным воспоминаниям: разговор с этой странной и бедной женщиной. Господи, как хорошо, что у моего сына все цело, говорила я себе. Как хорошо, что у него нормальные ноги, руки. Бронхит уже не казался мне бедствием. С бронхитом можно было бороться. Я радовалась и боялась этой радости, потому что была немножко суеверная.

...Мы кормили уток в пруду. Сережа отщипывал кусочки черствой булки и кидал в воду. Нарядный крупный селезень поспевал раньше остальных, выхватывал корм из воды и быстро сглатывал. Тогда сын стал кидать в другом месте. И вот почти у его ног оказалась маленькая утка. Ей все не перепадало, другие были шустрее. Некоторые выходили на берег и подбирали то, что не долетело до воды.

Маленькая утка тоже вышла. Она хромила. Сын долго смотрел на нее, скормив остатки хлеба, и сказал:

— Она тоже покалеченная, бедняжка.

Я знала, кого он имел в виду, говоря «она тоже»...

— Через двадцать минут мультфильмы начнутся, — сказала я. — Пойдем смотреть.

Сын обрадовался и удивился, ведь я только полчаса назад оторвала его от телевизора для прогулки на свежем воздухе. Это был один из редких случаев, когда я сама себе

противоречила. Но уж очень мне захотелось его отвлечь. Детская память короткая, убеждала я себя. Сын еще десять раз забудет эту бедную девочку. Хорошо, что она из другого города.

Откуда берутся хромые утки?..

Содержание

Дорогая Луиза	3
Пистолет	10
Краски	24
Шкатулка	39
Не вызывайте маму	48
Живая рыба	55
Незабудка	62
Якши	73
Зараза	80
Общая тетрадь	90
Лед	135
Старики и старушки	140
Придет серый еж	151
Белая лошадь	165
Девичник	184
День строителя	192
Из жизни буржуев	213
Среда	231
Хромая утка	239

Лариса Владимировна Тараканова

ШҚАТУЛҚА

Рассказы

Редактор **А. Ефимов**

Художник **И. Урнова**

Художественный редактор **А. Никулин**

Технический редактор **В. Котова**

Корректор **Н. Дмитриева**

ИБ № 4276.

Сдано в набор 5.09.85. Подписано к печати 19.11.85.
А13215. Формат 70×90/32. Гарнитура литер. Печать
высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 9,36.
Усл. краск.-отт. 9,36. Уч.-изд. л. 9,2. Тираж 30000 экз.
Заказ 590. Цена 85 коп.

Издательство «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза писате-
лей РСФСР, 123007, Москва, Хорошевское шос-
се, 62

Сортавальская книжная типография Государствен-
ного комитета Карельской АССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 186750.
Сортавала, ул. Карельская, 42.

Тараканова Л.

Т19 Шкатулка: Рассказы. — М.: Современник, 1986. — 253 с. — (Новинки «Современника»).

Основная тема произведений москвички Ларсы Таракановой — светлый и одновременно тревожный мир первой любви с ее радостями и драмами. Ряд рассказов посвящен семейной жизни. В них писательница исследует женские характеры и взгляды современных женщин на проблему личного счастья.

Т 4702010200—007
М106(03)—86 76—86

ББК 84Р7
Р2